

А. БОГДАНОВ



**КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА**

Annotation

«Красная звезда» – роман-утопия о Марсе, одна из последних классических утопий. Определение «красная» в названии книги – это не только цвет марсианских пустынь, но и цвет революции, социализма.

Впервые опубликованный в 1908 г., роман «Красная звезда» открыл собой новую, яркую главу в истории отечественной фантастической литературы – фантастику советскую.

Представлен текст издания 1929 года, без цензурных купюр всех последующих публикаций.

<https://ruslit.traumlibrary.net>

- [Александр Александрович Богданов](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Красная звезда](#)
 -
 - [Часть I](#)
 - [Часть II](#)
 - [Часть III](#)
 - [Часть IV](#)
 - [Из письма доктора Вернера литератору Мирскому.](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Александр Александрович Богданов
Красная звезда

Предисловие

Заманчивая идея изобразить будущий общественный строй человечества с давних времен занимала мысль и воображение писателей. В форме научного трактата, сатирического памфлета или фантастического романа они пытались вызвать картину будущего перед взорами своих современников. «Государство» Платона, «Утопия» Томаса Мора, «Вести ниоткуда» Вильяма Морриса и, наконец романы Уэллса – являются наиболее известными образцами подобного рода литературы.

Ценность этих произведений измеряется не тем, конечно, насколько авторам удалось дать живую и полную картину будущего общества. Поскольку такая задача не может быть разрешена средствами научного предвидения, которое может дать материал только для общего, схематического изображения основных линий будущего общественного строя, – всякая попытка дать конкретное изображение будущего остается недостоверной, произвольной фантазией.

Действительная ценность социальных утопий определяется тем, что авторы, рисуя картины будущего, исходят из критики существующих социальных отношений и излагают программу преобразования общества в соответствии с требованиями тех общественных классов, с которыми они солидаризируются.

В ряду этих произведений «Красная звезда» и «Инженер Мэнни» А. Богданова занимают особое место. Автор не только является сознательным и преданным сторонником социалистической организации общества, которую он изображает в своих романах, но он долгое время, в течение доброй половины своей жизни, боролся в рядах большевистской партии.

В годы первой революции А. Богданов был одним из выдающихся деятелей партии. Широко образованный человек, с большим творческим научным дарованием, Богданов посвятил ряд лет изучению основ научного социализма Маркса-Энгельса, и хотя ему в конце концов не удалось овладеть марксизмом, – эти занятия не могли

не наложить заметного отпечатка на методы его творчества и излагаемые им взгляды.

В своих фантастических романах Богданов стремился дать точно проанализированную картину социалистического общества, устраняя по возможности утопические черты, неизбежные впрочем, в таких произведениях, сознательно обуздывая полет фантазии рамками закономерного научного предвидения. «Красная звезда», написанная в 1908 году, является весьма добросовестным отображением социалистической программы пролетариата в том виде, как она понималась революционным крылом социал-демократии в эпоху, предшествовавшую мировой империалистической войне.

Чтобы показать, насколько это время теперь, по истечении 20 с небольшим лет, прошедших после написания романа, является отдаленным для нас – я напомню читателям, в каком состоянии тогда находилась такая важная отрасль современной техники, как авиация.

В 1908 году прославленный впоследствии французский летчик Блерио ставит рекорд – первое в мире воздушное путешествие на аэроплане из Тури в Артеней, покрыв расстояние в 14 километров! В следующем году тот же Блерио совершает знаменитый перелет через Ламанш, канал, отделяющий европейский континент от Англии, шириною всего лишь в 35 километров.

Мы далеко ушли от этого времени и разумеется не только в авиации или технике вообще. Нас отделяет от него целая эпоха, – развитие системы империализма; крушение социал-демократии; мировая война, проложившая новые грани; образование пролетарского государства Советов, которое с каждым годом все более и более превращает социализм из утопии в живую действительность, и все-таки «Красная звезда» не потеряла своего блеска, все-таки она в известной мере остается и сейчас путеводной звездой к социализму. В этом сказались сила и социальная значимость тех классовых устремлений, которые сумел отразить в своем произведении культурный пролетарский писатель.

Если хочется ввести некоторые поправки в данную Богдановым картину социалистической жизни, то они не затрагивают наиболее важных вопросов. Организация производства, распределения, весь уклад общественных взаимоотношений между отдельными лицами и группами в обществе, в котором уже завершился процесс отмирания

государства с его аппаратом принуждения, – обрисован автором четко с какою-то необыкновенной полнотой художественной правды, которая легко заставляет забывать читателя о том, что он имеет дело с фантастическим романом.

Поправки, о которых мы говорили, относятся преимущественно к двум вопросам: о многобрачии и о самоубийствах. В самом начале своих записок герой романа, от лица которого ведется рассказ, так излагает свое расхождение во взглядах с Анной Николаевной. «Еще острее мы разошлись во взглядах на наши собственные отношения. Она считала, что любовь обязывает к уступкам к жертвам и, главное, к верности, пока брак продолжается. Я на деле вовсе не собирался вступать в новые связи, но не мог и признать обязательства верности, именно как обязательства. Я даже полагал, что многобрачие принципиально выше единобрачия, так как оно способно дать людям и большее богатство личной жизни и большее разнообразие сочетаний в сфере наследственности. На мой взгляд, только противоречия буржуазного строя делают в наше время многобрачие частью просто неосуществимым, частью привилегией эксплуататоров и паразитов».

В дальнейшей судьбе, когда герой попадает в социалистическое общество, его взгляды на многобрачие подвергаются довольно острому испытанию. Его любовь к марсианке Нэтти описана автором с большой нежностью и увлечением. Когда герой узнает, что его любимая до связи с ним была женою двух своих товарищей одновременно, он, невзирая на свои программные размышления о многобрачии, чувствует себя прескверно. А как бы он себя чувствовал, если бы эти одновременные связи, оправдываемые теорией многобрачия, имели место не до, а во время его любви к Нэтти?

Прямого ответа на это мы не найдем в романе. Письмо Нэтти приносит успокоение герою. «У меня не будет других личных связей, – пишет Нэтти, – эта любовь сильнее всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы». Так разрешается этот конфликт, и любовь на Марсе возвращается к испытанным формам любви на Земле. Но идея многобрачия продолжает свои скитания на страницах романа. Нэтти отправляется в кратковременное междупланетное путешествие. Герой, тоскующий в отсутствие Нэтти, сближается с другой марсианкой –

Энно. «Как-то самой собой, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно кроткая и добрая Энно не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей. Был оттенок мягкой грусти в ее ласках, ласковой нежной дружбы, которая все позволяет».

Идеи автора в этом вопросе остаются неясными. Ничто нас не убеждает, что в данном случае мы имеем высшие формы взаимоотношений в половой сфере. Общепринятые моральные понятия, свойственные нашему семейному укладу, исчезнут вместе с исчезновением семьи, собственности и государства. С ними вместе исчезнет и обязательство верности при половом союзе, которое в настоящее время чаще всего заменяет собою верность и является школой притворства и лицемерия. Самая же верность, не по принуждению, но по свободному побуждению, может остаться и быть может именно при социалистическом строе, когда личные связи не будут опутаны побочными интересами, связанными с семейным домашним хозяйством и семейным воспитанием детей, получит впервые простор и станет заурядным явлением. Из сказанного конечно вовсе не вытекает, чтобы в свободном обществе социалистов, могла сохранить свое место ревность с ее кровожадными претензиями на «вечную верность» и т. д.

Таким образом, выдвинутый в начале романа тезис о том, что «многобрачие принципиально выше единобрачия», остается недоказанным и отражает повидимому преходящие оттенки настроения автора. Результатом таких же настроений являются и рассуждения о самоубийствах.

Марсианское общество оказывает организованную помощь самоубийцам. Лучшее помещение в лечебнице отводится для лиц, желающих покончить с собою. Им предоставляются все средства спокойной, безболезненной смерти. Особенно часты случаи самоубийства среди стариков. Это плохо вяжется с общей картиной гармонической жизни марсиан. Еще меньше с нею вяжутся те отдельные случаи самоубийств, которые приводятся автором в качестве примеров. Замечательный врач, с чрезмерно развитой способностью чувствовать страдания других людей. Во время тяжелой эпидемии его исследования помогли довольно скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить!

Или женщина, у которой умерли одновременно муж и ребенок. Или, наконец, попытка к самоубийству из-за неудачной любви. Все эти случаи, как будто, взяты из журнальной хроники нашей эпохи и объяснимы только на почве нервной неустойчивости и индивидуалистической замкнутости.

Второй роман Богданова «Инженер Мэнни» написан года на четыре позже «Красной звезды». Эти годы, вместе с тем, являются решающими и для дальнейшей судьбы самого автора. Наметившийся еще ранее отход Богданова от марксизма в области философии привел его в конце концов в лагерь идеалистов. Его колебания в политической линии партии вели ко все более полному отмежеванию от революционной социал-демократии и от Ленина. От программы революционного завоевания власти пролетариатом Богданов шел к «программе культуры», к провозглашению «всеобщей организационной науки» единственным пригодным средством к преобразованию капиталистического общества в социалистическое. Здесь не место разбирать подробно эти новые взгляды Богданова, которые вывели его из рядов активных борцов за дело пролетариата.

Достаточно указать, что сущность их сводится к тому, что пролетариат как класс, раньше чем ставить своей задачей завоевание власти, должен овладеть наукой, переработать ее в соответствии со своими классовыми интересами, создать и разработать новую науку – всеобщую организационную науку, как ее называл Богданов, которая должна быть наукой о построении нового социалистического общества. Всякая иная попытка осуществить программу пролетариата, по убеждению Богданова, явилась бы «программой авантюры, самой мрачной в истории пролетариата, самой тяжелой по последствиям... Единственным концом авантюры явилось бы длительное царство Железной пяты».^[1]

В другом месте той же брошюры Богданов так формулирует свое положение: пока рабочий класс не овладеет наукой, он не может, не должен предпринимать попытки осуществить социализм (см. стр. 69). Его задачей, по мысли Богданова, является: собирать, развивать, стройно систематизировать возникающие в недрах капиталистического строя зародыши новой культуры, элементы социализма, не покушаясь на непосредственный захват власти и

преобразование общества до накопления необходимых элементов культуры (см. там же, стр. 74 и 103).

По представлению Богданова, элементы социализма и классовая культура пролетариата вырастают внутри капиталистического общества подобно тому, как элементы буржуазного строя созрели под оболочкой феодального общества. Такая установка сближает взгляды Богданова с выдвинутой реформистами и вульгаризаторами марксизма теорией «врастания» социализма.

Свойственная Богданову своеобразная переоценка культуры, которая лежит в основе его ошибочных взглядов, могла бы быть отпарирована одним замечанием самого автора, оброненным им в «Красной звезде». Размышляя о том, как произошло то убийство, которое так наглядно показало неспособность человека Земли ассимилировать культуру марсиан, он высказывает предположение, что тут имел значение неправильный выбор марсианами человека Земли. Если бы Мэнни выбрал рабочего, – говорит автор, – он, несмотря на свою культурную отсталость, обнаружил бы больше психической твердости и устойчивости: «Думаю, что Мэнни тут впал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития».

Не ту же ли ошибку допускает Богданов в своих научно-организационных рассуждениях? Не придает ли он больше значения уровню культурности пролетариата, чем его культурной силе развития? Мы думаем, что сам Богданов превосходно сформулировал этими словами свою основную ошибку.

В заметке «О нашей революции» В. И. Лениным блестяще разработан тот же вопрос о культуре и революции. «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков этот определенный „уровень культуры“), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы».^[2] Богданов наравне с другими реформистами конечно не знал и не мог знать, какой именно уровень развития «всеобщей организационной науки» явился бы достаточным для того, чтобы приступить к социалистическому преобразованию.

Изложенные взгляды Богданова, хотя они в то время еще не были им так четко сформулированы, нашли свое отражение в «Инженере Мэнни» и на тех страницах «Красной звезды», которые предвосхищают сюжет, разработанный позже подробно в «Инженере Мэнни». В последнем романе автор преимущественно останавливается на борьбе идей, которая в заключительных главах принимает какой-то феерический характер. Борьба классов представлена заглушенной, действия масс нет. В философских и социологических рассуждениях проскальзывает идеалистическое восприятие мира, свойственное автору.

Ленин в одном из писем к Горькому в 1913 г. дает такой отзыв о романе: «Прочел его „Инженера Мэнни“. Тот же махизм – идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни... редакторы в „Правде“ не поняли».^[3] Все же «Инженер Мэнни», хотя и уступает «Красной звезде» как в идеологическом, так и в художественном отношении, представляет значительный интерес, как оригинальная попытка изобразить переходную эпоху к социализму. А по сравнению с такими произведениями, как роман Беллами, широко распространенный у нас в годы первой революции, или утопические новеллы Уэлса, романы Богданова, человека большой культуры и ума и сердца, пламенного идеалиста, в лучшем смысле этого слова, на протяжении всей своей жизни, – являются превосходным материалом для чтения.

Последние годы своей жизни Богданов посвятил всецело научной работе в созданном им в Москве «Институте по переливанию крови». Эта идея занимала Богданова с давних пор, еще в «Красной звезде» он писал о том, что марсиане применяли этот способ для обновления жизни. В 1928 году Богданов погиб при одном из опытов переливания крови, в котором он, с обычной для него самоотверженностью, принимал участие собственной кровью. Так жизнь человека, который более всего верил в то, что наука должна явиться освободительницей человечества, была принесена в жертву науке.

Бор. Лэгран
VI. 1929

Красная звезда

Роман-утопия

Часть I

I. Разрыв

Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще до сих пор и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу.

Ее первые, кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы: казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе, до какой степени цепки костлявые руки мертвеца, который давил и еще продолжает давить живого в своих судорожных объятиях.

Боевое возбуждение стремительно разливалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему; настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и непрочны, как никогда раньше.

В эти дни произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы.

Я был, несмотря на свои двадцать семь лет, одним из «старых» работников партии. За мною числилось шесть лет работы, с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, ее встретил. Работать приходилось гораздо больше прежнего; но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий – меня особенно интересовал вопрос о строении материи, – ни литературных: я писал в детских журналах, и это давало мне средства к жизни. В то же время я любил... или мне казалось, что любил.

Ее партийное имя было Анна Николаевна.

Она принадлежала к другому, более умеренному течению нашей партии. Я объяснял это мягкостью ее натуры и общей путаницей политических отношений в нашей стране; несмотря на то, что она

была старше меня, я считал ее еще не вполне определившимся человеком. В этом я ошибался.

Очень скоро после того, как мы сошлись с нею, различие наших натур стало сказываться все заметнее и все болезненнее для нас обоих. Постепенно оно приняло форму глубокого идейного разногласия – в понимании нашего отношения к революционной работе и в понимании смысла нашей собственной связи. Она шла в революцию под знаменем долга и жертвы, я – под знаменем моего свободного желания. К великому движению пролетариата она примыкала, как моралистка, находящая удовлетворение в его высшей нравственности, я – как аморалист, который просто любит жизнь, хочет ее высшего расцвета и потому вступает в то ее течение, которое воплощает главный путь истории к этому расцвету. Для Анны Николаевны пролетарская этика была священна сама по себе; я же считал, что это – полезное приспособление, необходимое рабочему классу в его борьбе, но преходящее, как сама эта борьба и порождающий ее строй жизни. По мнению Анны Николаевны, в социалистическом обществе можно было предвидеть только преобразование классовой морали пролетариата в общечеловеческую; я же находил, что пролетариат уже теперь идет к уничтожению всякой морали и что социальное чувство, делающее людей товарищами в труде и радости и страдании, разовьется вполне свободно только тогда, когда сбросит фетишистскую оболочку нравственности. Из этих разногласий рождались нередко противоречия в оценке политических и социальных фактов, противоречия, которые примирить было очевидно нельзя.

Еще острее мы разошлись во взглядах на наши собственные отношения. Она считала, что любовь обязывает к уступкам, к жертвам и главное верности, пока брак продолжается. Я на деле вовсе не собирался вступать в новые связи, но не мог и признать обязательства верности, именно как обязательства. Я даже полагал, что многобрачие принципиально выше единобрачия, так как оно способно дать людям и большее богатство личной жизни и большее разнообразие сочетаний в сфере наследственности. На мой взгляд только противоречия буржуазного строя делают в наше время многобрачие частью просто неосуществимый, частью привилегией эксплуататоров и паразитов, все грязнящих своей разлагающейся психологией;

будущее и здесь должно принести глубокое преобразование. Анну Николаевну такие воззрения жестоко возмущали: она видела в них попытку облечь в идейную форму грубо чувственное отношение к жизни.

И все же я не предвидел и не предполагал неизбежности разрыва, – когда в нашу жизнь проникло постороннее влияние, которое ускорило развязку.

Около этого времени в столицу приехал молодой человек, носивший необычайное у нас конспиративное имя Мэнни. Он привез с Юга некоторые сообщения и поручения, по которым можно было видеть, что он пользуется полным доверием товарищей. Выполнив свое дело, он еще на некоторое время решил остаться в столице и стал нередко заходить к нам, обнаруживая явную склонность ближе сойтись со мною.

Это был человек оригинальный во многом, начиная с наружности. Его глаза были настолько замаскированы очень темными очками, что я не знал даже их цвета; его голова была несколько непропорционально велика; черты его лица, красивые, но удивительно неподвижные и безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом так же, как и с его стройной, юношески гибкой фигурой. Его речь была свободной и плавной и всегда полной содержания. Его научное образование было очень односторонне; по специальности он был, по-видимому, инженер.

В беседе Мэнни имел склонность постоянно сводить частные и практические вопросы к общим идейным основаниям. Когда он бывал у нас, выходило всегда как-то так, что противоречия натур и взглядов у меня с женой очень скоро выступали на первый план настолько отчетливо и ярко, что мы начинали мучительно чувствовать их безысходность. Мировоззрение Мэнни было, по-видимому, сходно с моим; он всегда высказывался очень мягко и осторожно по форме, но столь же резко и глубоко по существу. Наши политические разногласия с Анной Николаевной он умел так искусно связывать с основным различием наших мировоззрений, что эти разногласия казались психологически неизбежными, почти логическими выводами из них, и исчезала всякая надежда повлиять друг на друга, сплести противоречия и прийти к чему-нибудь общему. Анна Николаевна питала к Мэнни нечто вроде ненависти, соединенной с живым

интересом. Мне он внушал большое уважение и смутное недоверие: я чувствовал, что он идет к какой-то цели, но не мог понять, к какой.

В один из январских дней – это было уже в конце января – предстояло обсуждение в руководящих группах обоих течений партии проекта массовой демонстрации с вероятным исходом в вооруженное столкновение. Накануне вечером пришел к нам Мэнни и поднял вопрос об участии в этой демонстрации, если она будет решена, самих партийных руководителей. Завязался спор, который быстро принял жгучий характер.

Анна Николаевна заявила, что всякий, кто подает голос за демонстрацию, нравственно обязан идти в первых рядах. Я находил, что это вообще вовсе не обязательно, а идти следует тому, кто там необходим или кто может быть серьезно полезен, причем имел в виду именно себя, как человека с некоторым опытом в подобных делах. Мэнни пошел дальше и утверждал, что, ввиду, очевидно, неизбежного столкновения с войсками, на поле действия должны находиться уличные агитаторы и боевые организаторы, политическим же руководителям там совсем не место, а люди физически слабые и нервные могут быть даже очень вредны. Анна Николаевна была прямо оскорблена этими рассуждениями, которые ей казались направленными специально против нее. Она оборвала разговор и ушла в свою комнату. Скоро ушел и Мэнни.

На другой день мне пришлось встать рано утром и уйти, не повидавшись с Анной Николаевной, а вернуться уже вечером. Демонстрация была отклонена и в нашем комитете и, как я узнал, в руководящем коллективе другого течения. Я был этим доволен, потому что знал, насколько недостаточна подготовка для вооруженного конфликта, и считал такое выступление бесплодной растратой сил. Мне казалось, что это решение несколько ослабит остроту раздражения Анны Николаевны из-за вчерашнего разговора. На столе у себя я нашел записку от Анны Николаевны:

«Я уезжаю. Чем больше я понимаю себя и вас, тем более для меня становится ясно, что мы идем разными путями и что мы оба ошиблись. Лучше нам больше не встречаться. Простите».

Я долго бродил по улицам, утомленный, с чувством пустоты в голове и холода в сердце. Когда я вернулся домой, то застал там неожиданного гостя: у моего стола сидел Мэнни и писал записку.

II. Приглашение

– Мне надо переговорить с вами по одному очень серьезному и несколько странному делу, – сказал Мэнни.

Мне было все равно; я сел и приготовился слушать.

– Я читал вашу брошюру об электронах и материи, – начал он. – Я сам несколько лет изучал этот вопрос и полагаю, что в вашей брошюре много верных мыслей.

Я молча поклонился. Он продолжал:

– В этой работе у вас есть одно особенно интересное для меня замечание. Вы высказали там предположение, что электрическая теория материи, необходимо представляя силу тяготения в виде какого-то производного от электрических сил притяжения и отталкивания, должна привести к открытию тяготения с другим знаком, то есть к получению такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается Землей, Солнцем и другими знакомыми нам телами; вы указывали для сравнения на диамагнитное отталкивание тел и на отталкивание параллельных токов разного направления. Все это сказано мимоходом, но я думаю, что сами вы придавали этому большее значение, чем хотели обнаружить.

– Вы правы, – ответил я, – и я думаю, что именно на таком пути человечество решит как задачу вполне свободного воздушного передвижения, так затем и задачу сообщения между планетами. Но верна ли сама по себе эта идея или нет, она совершенно бесплодна до тех пор, пока нет точной теории материи и тяготения. Если другой тип материи и существует, то просто найти его, очевидно, нельзя: силою отталкивания он давно уже устранен из всей солнечной системы, а еще вернее – он не вошел в ее состав, когда она начинала организовываться в виде туманности. Значит, этот тип материи надо еще теоретически конструировать и затем практически воспроизвести. Теперь же для этого нет данных и можно, в сущности, только предчувствовать самую задачу.

– И тем не менее эта задача уже разрешена, – сказал Мэнни.

Я взглянул на него с изумлением. Лицо его было все так же неподвижно, но в его тоне было что-то такое, что не позволяло считать его за шарлатана.

«Может быть, душевно-больной», – мелькнуло у меня в голове.

– Мне нет надобности обманывать вас, и я хорошо знаю, что говорю, – отвечал он на мою мысль. – Выслушайте меня терпеливо, а затем, если надо, я представлю доказательства. – И он рассказал следующее:

– Великое открытие, о котором идет речь, не было совершено силами отдельной личности. Оно принадлежит целому научному обществу, существующему довольно давно и долго работавшему в этом направлении. Общество это было до сих пор тайным, и я не уполномочен знакомить вас ближе с его происхождением и историей, пока нам не удастся столкнуться в главном.

Общество наше значительно опередило академический мир во многих важных вопросах науки. Радирующие элементы и их распределение были известны нам гораздо раньше Кюри и Рамсая, и нашим товарищам удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен синтез этой «минус-материи», как мы ее кратко обозначаем.

После этого было уже нетрудно разработать и осуществить технические применения этого открытия – сначала летательные аппараты для передвижения в земной атмосфере, а потом и для сообщения с другими планетами.

Несмотря на спокойно-убедительный тон Мэнни, его рассказ казался мне слишком странным и неправдоподобным.

– И вы сумели все это выполнить и сохранить в тайне? – заметил я, прерывая его речь.

– Да, потому что мы считали это в высшей степени важным. Мы находили, что было бы очень опасно опубликовать наши научные открытия, пока в большинстве стран остаются реакционные правительства. И вы, русский революционер, более чем кто-либо должны с нами согласиться. Посмотрите, как ваше азиатское государство пользуется европейскими способами сообщения и средствами истребления, чтобы подавлять и искоренять все, что есть у вас живого и прогрессивного. Многим ли лучше правительство той полу-феодальной, полу-конституционной страны, трон которой занимает воинственно-болтливый глупец, управляемый знатными

мошенниками? И чего стоят даже две мещанские республики Европы? А между тем ясно, что если бы наши летательные машины стали известны, то правительства прежде всего позаботились бы захватить их в свою монополию и использовать для усиления власти и могущества высших классов. Этого мы решительно не желаем и поэтому оставляем монополию за собой, выжидая более подходящих условий.

– И вам в самом деле уже удалось достигнуть других планет? – спросил я.

– Да, двух ближайших, теллурических планет, Венеры и Марса, не считая, конечно, мертвой Луны. Именно теперь мы заняты их подробным исследованием. У нас есть все необходимые средства, нам нужны люди сильные и надежные. По полномочию от моих товарищей я предлагаю вам вступить в наши ряды, – разумеется, со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Он остановился, ожидая ответа. Я не знал, что думать.

– Доказательства! – сказал я. – Вы обещали представить доказательства.

Мэнни вынул из кармана стеклянный флакон с какой-то металлической жидкостью, которую я принял за ртуть. Но странным образом эта жидкость, наполнявшая не больше трети флакона, находилась не на дне его, а в верхней части, около горлышка, и в горлышке до самой пробки. Мэнни перевернул флакон, и жидкость перелилась ко дну, то есть прямо вверх. Мэнни выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно и очевидно.

– Флакон этот из обыкновенного стекла, – пояснил Мэнни, – а налита в него жидкость, которая отталкивается телами солнечной системы. Жидкости налито ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона; таким образом, то и другое вместе не имеет веса. По этому способу мы устраиваем и все летательные аппараты: они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством «материи отрицательного типа». Затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения. Для земных летательных машин применяются простые электрические двигатели с воздушным винтом; для междупланетного передвижения этот способ, конечно,

негоден, и тут мы пользуемся совершенно иным методом, с которым впоследствии я могу познакомить вас ближе.

Сомневаться больше не приходилось.

– Какие же ограничения налагает ваше общество на вступающих в него, кроме, разумеется, обязательной тайны?

– Да вообще-то почти никаких. Ни личная жизнь, ни общественная деятельность товарищей ничем не стеснены, лишь бы не вредили деятельности общества в целом. Но каждый должен при самом своем вступлении исполнить какое-либо важное и ответственное поручение общества. Этим способом, с одной стороны, укрепляется его связь с обществом, с другой – выясняется на деле уровень его способностей и энергии.

– Значит, и мне будет теперь же предложено такое поручение?

– Да.

– Какое именно?

– Вы должны принять участие в отправляющейся завтра экспедиции большого этеронефа на планету Марс.

– Насколько продолжительна будет экспедиция?

– Это неизвестно. Одна дорога туда и обратно требует не менее 5 месяцев. Можно и совсем не вернуться.

– Это-то я понимаю; не в том дело. Но как мне быть с моей революционной работой? Вы сами, по-видимому, социал-демократ и поймете мое затруднение.

– Выбирайте. Мы считаем перерыв в работе необходимым для завершения вашей подготовки. Поручение не может быть отложено. Отказ от него есть отказ от всего.

Я задумался. С выступлением на сцену широких масс устранение того или иного работника – факт совершенно ничтожный по своему значению для дела в его целом. К тому же это устранение временное, и, вернувшись к работе, я буду гораздо более полезен ей со своими новыми связями, знаниями и средствами. Я решился.

– Когда же я должен отправляться?

– Сейчас, со мною.

– Вы дадите мне два часа, чтобы известить товарищей? Меня надо завтра же заменить в районе.

– Это почти сделано. Сегодня приехал Андрей, бежавший с Юга. Я предупредил его, что вы можете уехать, и он готов занять ваше

место. Дожидаясь вас, я написал ему на случай письмо с подробными указаниями. Мы можем завезти ему это письмо по дороге.

Больше толковать было не о чем. Я быстро уничтожил лишние бумаги, написал записку хозяйке и стал одеваться. Мэнни был уже готов.

– Итак, идем. С этой минуты я – ваш пленник.

– Вы – мой товарищ! – ответил Мэнни.

III. Ночь

Квартира Мэнни занимала весь пятый этаж большого дома, обособленно возвышавшегося среди маленьких домиков одной из окраин столицы. Нас никто не встречал. В комнатах, по которым мы шли, было пусто, и при ярком свете электрических лампочек пустота эта казалась особенно мрачной и неестественной. В третьей комнате Мэнни остановился.

– Вот здесь, – он указал на дверь четвертой комнаты, – находится воздушная лодочка, в которой мы сейчас поедем к большому этеронефу. Но раньше я должен подвергнуться маленькому превращению. В этой маске мне трудно было бы управлять гондолой.

Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражен тем, что увидел при этом. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй, уродства, но не карикатуры.

– Вы видите, какой наружностью наделила меня природа, – сказал Мэнни. – Вы понимаете, что я должен скрывать ее, хотя бы ради того, чтобы не пугать людей, не говоря уже о требованиях конспирации. Но вам уж придется привыкать к моему безобразию, вы по необходимости будете проводить много времени со мною.

Он отворил дверь следующей комнаты и осветил ее. Это была обширная зала. Посередине ее лежала небольшая, довольно широкая лодочка, сделанная из металла и стекла. В ее передней части и борта и дно были стеклянные, со стальными переплетами; эта прозрачная стенка в два сантиметра толщиной была, очевидно, очень прочна. Над носовыми бортами две плоские хрустальные пластинки, соединенные под острым углом, должны были разрезать воздух и охранять пассажиров от ветра при быстром движении. Машина занимала среднюю часть лодочки, винт с тремя лопастями в полметра ширины находился в кормовой части. Передняя половина лодочки вместе с машиной была прикрыта сверху тонким пластинчатым навесом, прикрепленным к металлической оковке стеклянных бортов и к легким стальным колонкам. Все вместе было изящно как игрушка.

Мэнни предложил мне сесть на боковую скамеечку гондолы, погасил электрический свет и раскрыл огромное окно залы. Сам он сел спереди возле машины и выбросил несколько мешков балласта, лежавших на дне лодки. Затем он положил руку на рычаг машины. Лодка заколебалась, медленно поднялась и тихо проскользнула в открытое окно.

– Благодаря минус-материи для наших аэропланов не требуется ломких и неуклюжих крыльев, – заметил Мэнни.

Я сидел как прикованный, не решаясь пошевелиться. Шум винта становился все слышнее, холодный зимний воздух врвался под навес, приятно освежая мое горевшее лицо, но бессильный проникнуть под мое платье. Над нами сверкали, переливаясь, тысячи звезд, а внизу... Я видел через прозрачное дно гондолы, как уменьшались черные пятна домов и уходили вдаль яркие точки электрических фонарей столицы, и снежные равнины светились далеко под нами тусклым синевато-белым светом. Головокружение, сначала легкое и почти приятное, становилось все сильнее, и я закрыл глаза, чтобы избавиться от него.

Воздух становился все резче, шум винта и свист ветра все выше – очевидно, быстрота движения возрастала. Скоро среди этих звуков мое ухо стало различать тонкий, непрерывный и очень ровный серебристый звон – это дрожала, разбивая воздух, стеклянная стенка гондолы. Странная музыка заполняла сознание, мысли путались и уходили, оставалось только чувство стихийно-легкого и свободного

движения, уносящего куда-то вперед и вперед, в бесконечное пространство.

– Четыре километра в минуту, – сказал Мэнни, и я открыл глаза.

– Это еще далеко? – спросил я.

– Около часу пути, на льду одного озера.

Мы находились на высоте нескольких сот метров, и лодка летела горизонтально, не опускаясь и не поднимаясь. Мои глаза привыкали к темноте, и я видел все яснее. Мы вступили в страну озер и гранитных скал. Эти скалы чернели местами, свободные от снега. Между ними кой-где лепились деревушки.

Налево позади нас оставалось вдали снежное поле замерзшего залива, справа – белые равнины громадного озера. На этом безжизненном зимнем ландшафте мне предстояло порвать свои связи со старой землей. И вдруг я почувствовал – не сомнение, нет, настоящую уверенность, что это – разрыв навсегда...

Гондола медленно опустилась между скалами, в небольшой бухте горного озера, перед темным сооружением, возвышавшимся на снегу. Ни окон, ни дверей не было видно. Часть металлической оболочки сооружения медленно сдвинулась в сторону, открывая черное отверстие, в которое и вплыла наша лодка. Затем отверстие снова закрылось, а пространство, где мы находились, осветилось электрическим светом. Это была большая удлиненная комната без мебели; на полу ее лежала масса мешков с балластом.

Мэнни прикрепил гондолу к специально предназначенным для этого колонкам и отворил одну из боковых дверей. Она вела в длинный полуосвещенный коридор. По сторонам его были расположены, по-видимому, каюты. Мэнни привел меня в одну из них и сказал:

– Вот ваша каюта. Устраивайтесь сами, а я пойду в машинное отделение. Увидимся завтра утром.

Я был рад остаться один. Сквозь все возбуждение, вызванное странными событиями вечера, утомление давало себя знать, я не прикоснулся к приготовленному для меня на столе ужину и, погасив лампочку, лег в постель. Мысли нелепо перемешивались в голове, переходя от предмета к предмету самым неожиданным образом. Я упорно заставлял себя заснуть, но это мне долго не удавалось. Наконец сознание стало неясным; смутные, неустойчивые образы

начали толпиться перед глазами, окружающее ушло куда-то далеко, и тяжелые грезы овладели моим мозгом.

Цепь снов закончилась ужасным кошмаром. Я стоял на краю громадной черной пропасти, на дне которой сияли звезды, и Мэнни с непреодолимой силой увлекал меня вниз, говоря, что не стоит бояться силы тяжести и что через несколько сот тысяч лет падения мы достигнем ближайшей звезды. Я застонал в мучительной последней борьбе и проснулся.

Нежный голубой свет наполнял мою комнату. Около меня сидел на постели и наклонялся ко мне... Мэнни? Да, он, но призрачно-странный и как будто другой: мне казалось, что он стал гораздо меньше, и глаза его не так резко выступали на лице, у него было мягкое, доброе выражение, а не холодное и непреклонное, как только что на краю бездны...

– Какой вы хороший... – произнес я, смутно сознавая эту перемену.

Он улыбнулся и положил руку мне на лоб. Это была маленькая мягкая рука. Я снова закрыл глаза и с нелепой мыслью о том, что надо поцеловать эту руку, забылся в спокойном, блаженном сне.

IV. Объяснение

Когда я проснулся и осветил комнату, часы показывали десять. Окончив свой туалет, я нажал кнопку звонка, и через минуту в комнату вошел Мэнни.

– Мы скоро отправимся? – спросил я.

– Через час, – ответил Мэнни.

– Вы заходили ко мне сегодня ночью или мне только приснилось?

– Нет, это не был сон; но приходил не я, а наш молодой доктор, Нэтти. Вы плохо и тревожно спали, он должен был усыпить вас посредством голубого света и внушения.

– Он ваш брат?

– Нет, – улыбаясь, сказал Мэнни.

– Вы до сих пор не сказали мне, какой вы национальности... Ваши остальные товарищи принадлежат к тому же типу, как и вы?

– Да, – ответил Мэнни.

– Значит, вы меня обманули, – резко заявил я. – Это не научное общество, а нечто другое?

– Да, – спокойно сказал Мэнни. – Все мы – жители другой планеты, представители другого человечества. Мы – марсиане.

– Зачем же вы меня обманули?

– А вы стали бы меня слушать, если бы я сразу сказал вам всю правду? У меня было слишком мало времени, чтобы убедить вас. Приходилось исказить истину ради правдоподобия. Без этой переходной ступени ваше сознание было бы чрезмерно потрясено. В главном же я сказал правду – в том, что касается предстоящего путешествия.

– Значит, я все-таки ваш пленник?

– Нет, вы и теперь свободны. У вас еще час времени, чтобы решить вопрос. Если вы откажетесь за это время, мы отвезем вас обратно, а путешествие отложим, потому что нам одним теперь возвращаться нет смысла.

– Зачем же я вам нужен?

– Чтобы послужить живой связью между нашим и земным человечеством, чтобы ознакомиться с нашим строем жизни и ближе ознакомить марсиан с земным, чтобы быть – пока вы этого пожелаете – представителем своей планеты в нашем мире.

– Это уже вполне правда?

– Да, вполне, если вы окажетесь в силах выполнить эту роль.

– В таком случае надо попытаться. Я остаюсь с вами.

– Это ваше окончательное решение? – спросил Мэнни.

– Да, если и последнее ваше объяснение не представляет какой-нибудь... переходной ступени.

– Итак, мы едем, – сказал Мэнни, оставляя без внимания мою колкость. – Сейчас я пойду сделать последние указания машинисту, а потом вернусь к вам, и мы пойдем вместе наблюдать отплытие этеронефа.

Он ушел, а я предался размышлениям. Наше объяснение, в сущности, не было вполне закончено. Оставался еще один вопрос, и довольно серьезный; но я не решился предложить его Мэнни. Сознательно ли содействовал он моему разрыву с Анной Николаевной? Мне казалось, что да. Вероятно, он видел в ней препятствие для своей цели. Может быть, он был прав. Во всяком

случае, он мог только ускорить этот разрыв, а не создать его. Конечно, и это было дерзким вмешательством в мои личные дела. Но теперь я уже был связан с Мэнни и все равно должен был подавлять свою враждебность к нему. Значит, незачем было и трогать прошлое, лучше всего было и не думать об этом вопросе.

В общем, новый оборот дела не слишком меня поразил: сон подкрепил мои силы, а удивить меня чем-нибудь после всего пережитого накануне было уже довольно трудно. Надо было только выработать план дальнейших действий.

Задача состояла, очевидно, в том, чтобы как можно скорее и полнее ориентироваться в своей новой обстановке. Самое лучшее было – начинать с ближайшего и переходить шаг за шагом к более отдаленному. Ближайшим же являлось – этеронеф, его обитатели и начинающееся путешествие. Марс был еще далеко: самое меньшее на два месяца расстояния, как можно было заключить из вчерашних слов Мэнни.

Наружную форму этеронефа я успел заметить еще накануне: это был почти шар со сплаженным сегментом внизу, на манер поставленного колумбова яйца, – форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, то есть наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. Что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло. Внутреннее устройство мне должен был показать и объяснить Мэнни, он же должен был познакомить меня со всеми остальными «чудовищами», как я мысленно называл моих новых товарищей.

Вернувшись, Мэнни повел меня к остальным марсианам. Все собрались в боковой зале с громадным хрустальным окном в половину стены. Настоящий солнечный свет был очень приятен после призрачного света электрических лампочек. Марсиан было человек двадцать, и все были, как мне тогда показалось, на одно лицо. Отсутствие бороды, усов, а также и морщин на их лицах почти сплаживало у них даже разницу возраста. Я невольно следил глазами за Мэнни, чтобы не потерять его среди этой чуждой мне компании. Впрочем, я скоро стал различать между ними моего посетителя, Нэтти, выделявшегося своей молодостью и живостью, а также широкоплечего гиганта Стэрни, поражавшего меня каким-то странно

холодным, почти зловещим выражением лица. Кроме самого Мэнни, один Нэтти говорил со мною по-русски, Стэрни и еще три-четыре человека – по-французски, другие – по-английски и по-немецки, между собою же они говорили на каком-то совершенно новом для меня – очевидно, своем родном языке. Язык этот был звучен и красив и, как я с удовольствием заметил, не представлял, по-видимому, никаких особенных трудностей в произношении.

V. Отплытие

Как ни интересны были «чудовища», но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту «отплытия». Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимавшуюся за нею. Я ожидал, что вот-вот почувствую резкий толчок и все это быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался.

Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно.

– Ускорение два сантиметра, – сказал Мэнни.

Я понял, что это значило. В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую 3, в третью 5, в четвертую 7 сантиметров; и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут – курьерского поезда и т. д.

Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в 500 раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности земли.

Стеклянная пластинка окна начиналась от самого пола и составляла с ним тупой угол, сообразно направлению шаровой поверхности этеронефа, частью которого она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами.

Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревушек, очертания озер вырисовывались как на плане. А небо становилось все темнее; и в то самое время как синяя полоса незамерзшего моря заняла западную сторону горизонта, мои глаза уже стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете.

Очень медленное вращательное движение этеронефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг.

Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все площе, весь ландшафт принимал все в большей мере характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчато и неясно к ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом. А небо сделалось совсем черным, и бесчисленные звезды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли.

– Скажите, Мэнни, это ускорение в два сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия?

– Да, – отвечал он, – только его направление будет около середины пути изменено на обратное и скорость будет тогда не увеличиваться, а уменьшаться каждую секунду на такую же величину. Таким образом, хотя наибольшая скорость этеронефа будет около 50 километров в секунду, а средняя – около 25 километров, но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале пути, и мы без всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния – 60 и 100 миллионов километров – при скорости, например, ваших поездов удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа «пушечного выстрела», о котором я читал в ваших фантастических романах, то это, конечно, простая шутка, потому что по законам механики практически одно и то же – находиться ли внутри ядра во время выстрела или получить ядро внутрь.

– А каким путем вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения?

– Движущая сила этеронефа – это одно из радилирующих веществ, которое нам удастся добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение его элементов в сотни тысяч раз; это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определенному направлению, то есть по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному вам закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительной части миллиграмма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему этеронефу его равномерно ускоренное движение.

Во время нашего разговора все марсиане исчезли из зала. Мэнни предложил мне идти позавтракать в его каюте. Я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке этеронефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Мэнни.

– Да, – сказал Мэнни, – хотя Солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действие ничтожно. Влияние Земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра. Только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться $1/400$ – $1/500$ нашего прежнего веса. В первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений, головокружений и даже тошноты, то избавиться от них поможет вам Нэтти. Трудно будет также справляться с водой и другими жидкостями, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств: мебель и посуда прикрепляются к месту, жидкости

сохраняются закупоренными, всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете; времени для этого хватит.

Со времени отъезда прошло около двух часов, а уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно: тело становилось легче, движения свободнее, и ничего больше. Атмосферу мы успели вполне миновать, но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода. Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту, правда, с перепутанным масштабом: более крупным в середине, более мелким к горизонту; кое-где ее закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясно виден сквозь синюю дымку; на севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне, только скалы Шпицбергена выделялись еще темным пятном. На востоке, за зеленовато-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только с зеленоватым отливом – слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе, за ясными контурами средней Европы, терялись в облаках очертания берегов Англии и северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызвала у меня чувство, близкое к обмороку. Я возобновил разговор с Мэнни.

– Вы капитан этого корабля, не так ли?

Мэнни утвердительно кивнул головой и заметил:

– Но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в деле управления этеронефом, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые Стэрни, или как все мы принимаем медицинские советы Нэтти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы.

– А сколько лет этому доктору Нэтти? Он кажется мне очень уж молодым.

– Не помню, 16 или 17, – с улыбкой ответил Мэнни.

Приблизительно так мне и казалось. Но я не мог не удивляться такой ранней учености.

– И в этом возрасте быть уже врачом! – невольно вырвалось у меня.

– И прибавьте: знающим и опытным врачом, – дополнил Мэнни.

В то время я не сообразил, а Мэнни умышленно не напомнил этого, что годы марсиан почти вдвое длиннее наших: оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 наших дней, и 16 лет Нэтти равнялись 30 земным годам.

VI. Этеронеф

После завтрака Мэнни провел меня осматривать наш «корабль». Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж этеронефа, примыкая прямо к его уплощенному дну, и делилось перегородками на пять комнат – одну центральную и четыре боковые. В середине центральной комнаты возвышалась движущая машина, а вокруг нее со всех четырех сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна, одно из чистого хрусталя, три из цветного стекла различной окраски; стекла были в три сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности.

Основную часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр трех метров вышины и полметра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Мэнни, из осмия – очень тугоплавкого, благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радирующей материи; накаленные докрасна 20-сантиметровой толщины стенки ясно свидетельствовали об энергии этого процесса. И, однако, в комнате не было слишком жарко: весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары; а сверху этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного «отопления» этеронефа.

Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром, – электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатами и т. п., – были расположены вокруг в красивом порядке,

и дежурный машинист благодаря системе зеркал видел все их сразу, не сходя со своего кресла.

Из боковых комнат одна была «астрономическая», справа и слева от нее находились «водяная» и «кислородная», а на противоположной стороне – «вычислительная». В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные, из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что когда я, идя вслед за Мэнни по воздушным мостикам, решил взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под нами, – мне приходилось закрыть глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостиков, на сложных штативах, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около двух метров длины, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, такой же оптической силой.

– Окуляры мы применяем только алмазные, – сказал Мэнни, – они дают наибольшее поле зрения.

– Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа? – спросил я.

– Ясное увеличение около 600 раз, – отвечал Мэнни, – но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. Этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более; а замедление с фотографированием не составляет у нас и минуты.

Мэнни предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую Землю. Он сам направил трубу.

– Расстояние теперь около 2.000 километров, – сказал он. – Узнаете ли вы, что перед вами?

Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Мэнни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом.

– Мы проявляем и закрепляем изображение тут же, в микроскопе, не прикасаясь к пластинке руками, – пояснил он и после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставил мне окуляр микроскопа. Я с поразительной ясностью увидел знакомый мне пароход Северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня; изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовал во время поездки. Матрос, опускавший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же как и пассажир, указывающий ему что-то рукою. И все это было за 2.000 километров...

Молодой марсианин, помощник Стэрни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного этеронефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в «водяную» комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему этеронефу.

Далее шла «вычислительная» комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стэрни. Из нее тянулась длинная лента, заключавшая, очевидно, результаты вычислений Стэрни; но знаки на ней, как и на всех циферблатах, были мне неизвестны. Мне не хотелось мешать Стэрни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение.

Это была «кислородная» комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить по мере надобности 10.000 кубических метров кислорода: это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашему. Тут же находились аппараты для разложения бертолетовой соли. Далее, там же хранились запасы барита и едкого кали для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для поглощения лишней влаги и летучего левкомаина – того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнатой заведовал доктор Нэтти.

Затем мы вернулись в центральное машинное отделение и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний

этаж этеронефа. Там центральную комнату занимала вторая обсерватория, во всем подобная нижней, но только с хрустальной оболочкой вверху, а не внизу, и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с «планетой назначения». Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Мэнни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомые мне по картам Скиапарелли очертания материков, морей и сети каналов. Мэнни фотографировал планету, и под микроскопом выступила детальная карта. Но я не мог ничего понять в ней без объяснений Мэнни: пятна городов, лесов и озер отличались одни от других неуловимыми и непонятными для меня частностями.

– Как велико расстояние? – спросил я.

– Сейчас сравнительно близкое – около 100 миллионов километров.

– А почему Марс не в зените купола? Мы, значит, летим не прямо к нему, а в сторону?

– Да, и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг солнца – 30 километров в секунду. Скорость же Марса всего 24 километра, и если бы летели по перпендикуляру между обеими орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боковой скоростью 6 километров в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбирать криволинейный путь, на котором уравнивается и лишняя боковая скорость.

– Как же велик в таком случае весь наш путь?

– Около 160 миллионов километров, что потребует не менее 2½ месяцев.

Если бы я не был математиком, эти цифры ничего не говорили бы моему сердцу. Но теперь они вызвали во мне ощущение, близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты.

Шесть боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцом обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представлявший часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары «минус-материи», отталкивание которой должно было парализовать вес всего этеронефа.

Средние этажи – третий и второй – были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ваннами, библиотекой, гимнастической комнатой и т. д.

Каюта Нэтти находилась рядом с моею.

VII. Люди

Потеря тяжести все больше давала себя знать. Возраставшее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку.

Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул. Когда я проснулся, в моей комнате у стола сидел Нэтти. Я невольно резким движением поднялся с постели и, как будто подброшенный чем-то сверху, ударился головой о потолок.

– Когда весишь менее 20 фунтов, то надо быть осторожнее, – добродушно-философским тоном заметил Нэтти.

Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той «морской болезни», которая уже началась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнату, которым я мог его всегда вызвать, если бы еще потребовалась его помощь.

Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором, – меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании марсиан на этеронефе он один, кроме Мэнни, владеет моим родным языком.

– Это очень просто, – объяснил он. – Когда мы искали человека, то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами.

– Значит, другие «искали человека» в других странах?

– Конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как Мэнни и предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены все больше

смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных; они собрались изо всех стран; и вот, мы едем.

– Что вы, собственно, подразумеваете, когда говорите: «искали человека», «нашли человека»? Я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для известной роли, – Мэнни объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан.

– В самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способности к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей на Земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически, – что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Мэнни нашел, что вы подходите больше других.

– И мнения Мэнни было для всех вас достаточно?

– Да, мы вполне доверяем его оценке. Он – человек выдающейся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас; он первый начал эти сношения.

– А кто открыл самый способ сообщения между планетами?

– Это дело многих, а не одного. «Минус-материя» была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получать только в ничтожных количествах, и понадобились усилия очень многих фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радирующей материи, чтобы иметь подходящий двигатель для этеронифов. Это также требовало массы усилий. Далее, много трудностей вытекало из самих условий межпланетной среды, с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, не смягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех

участников, пока Мэнни не удалось организовать первую успешную экспедицию. А теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру.

– Но если так, то Мэнни настоящий великий человек, – сказал я.

– Да, если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работал.

– Я хотел сказать не это: работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные люди, люди-исполнители. Мэнни же, очевидно, совсем иное: он гений, человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество.

– Это все неясно и, кажется, неверно. Творец – каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Мэнни не находится весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей и разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинации? И разве не из самой борьбы человечества с природой возникли все живые стимулы этих комбинаций? Человек – личность, но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками; неодинакова только величина того, что они пережили, и того, что остается в жизни.

– Но ведь, напр., имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в памяти человечества, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно.

– Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества.

– Вы, пожалуй, и правы; но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей мысли и дела – живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И имена гениев не балласт для нашей памяти.

– Это оттого, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело; в иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу.

– Итак, хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных – не так ли? – из тех, которые «много и хорошо работали», как вы выражаетесь?

– Вообще да. Мэнни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним.

– А самый крупный после него, – это, может быть, Стэрни?

– Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей. Стэрни – выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Мэнни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми.

– Я так его себе и представлял на основании слов Мэнни и первых впечатлений. А между тем я сам не понимаю, почему его вид вызывает во мне какое-то тревожное чувство, какое-то неопределенное беспокойство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого?

– Видите ли, Стэрни – очень сильный, но холодный, главным образом аналитический ум. Он все разлагает, неумолимо и последовательно, и выводы его часто односторонни, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого: вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей, как живое человеческое тело больше, чем груды его членов. Вследствие этого Стэрни меньше прочих может входить в настроения и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна какой-нибудь трудной задачей. В этом он непохож на Мэнни: тот всегда все

видит вокруг и не раз умел объяснить даже мне самому, чего мне хочется, что меня беспокоит, чего ищет мой ум или мое чувство.

– Если все это так, то Стэрни, должно быть, к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно?

– Враждебно? – нет; ему это чувство чуждо. Но скептицизма у него, я думаю, больше, чем следует. Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Мэнни: «Здесь искать нечего». Может быть, он был отчасти прав, потому что и Летта, который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Летта, и, конечно, гораздо более односторонни, хотя и не заключают в себе ничего прямо неверного.

– А кто такой этот Летта, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил.

– Химик, помощник Мэнни, немолодой человек, старше всех на нашем этеронефе. С ним вы сойдетесь легко, и это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он не психолог, как Мэнни. Приходите к нему в лабораторию, он будет рад этому и покажет вам много интересного.

В этот момент я вспомнил, что мы уже далеко улетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. Мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами.

– Не придется ли нам проехать близко от Луны? – спросил я по дороге.

– Нет, Луна остается далеко в стороне, и это жаль. Мне тоже хотелось посмотреть на Луну поближе. С Земли она казалась мне такой странной. Большая, холодная, медленная, загадочно-спокойная, она совсем не то, что наши две маленькие луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые, капризные дети. Правда, ваша Луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный. Ярче и ваше Солнце; вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее: оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи.

Мы сели у окна. Земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания запада Америки,

северо-востока Азии, тусклое пятно, обозначавшее часть Великого океана, и белое пятно Северного Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый Свет лежали во мраке; за расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, и именно потому, что невидимая часть Земли закрывала звезды на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение Земли вокруг оси привели к такой перемене картины.

Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизни, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на мое место должен был стать другой. И сомнение поднялось в моей душе.

– Там, внизу, льется кровь, – сказал я, – а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя...

– Кровь льется там ради лучшего будущего, – отвечал Нэтти, – но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания вы здесь.

С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.

VIII. Сближение

Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели этеронефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу, или потолку, или к стене – почти безразлично... Понемногу я сходил со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя с ними свободнее.

Уже на другой день после нашего отплытия (мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало настоящих дней и ночей) я по собственной инициативе переделался в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне: простой, удобный, без всяких бесполезных, условных частей вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для движений. Отдельные

части костюма так соединялись маленькими застежками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было в случае надобности отстегнуть и снять, например, один рукав или оба или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм: простота, отсутствие всего лишнего и условного. Они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговора из вежливости, если прямая цепь его была исчерпана; и в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мало она ни подходила к их собственной.

Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников, а больше всех Нэтти. Язык этот очень оригинален; и, несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне было нелегко справиться. Его правила вообще не имеют исключений, в нем нет таких разграничений, как мужской, женский и средний род; но рядом с этим все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове.

– Скажите, какой смысл в этих формах? – спрашивал я Нэтти.

– Неужели вы не понимаете? А между тем в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что, в сущности, очень неважно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть. У вас «дом» – мужчина, а «лодка» – женщина, у французов это наоборот, – и дело от того нисколько не меняется. Но когда вы говорите о доме, который уже сгорел или который еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в которой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе большее различие, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер, – между тем, что есть, и тем, чего нет? Вам нужны целые слова и фразы для обозначения этого различия, – не лучше ли выразить его прибавлением одной буквы в самом слове?

Во всяком случае, Нэтти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело продвигалось вперед быстро. Это

помогало мне сблизиться с марсианами, – я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему этеронефу, заходя в комнаты и в лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало.

Молодой астроном Энно, помощник Стэрни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящим мастером, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом-поэтом; а законное стремление ориентироваться в нашем положении среди природы давало мне постоянный повод проводить понемногу времени у Энно и его телескопов.

Один раз Энно показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, остальная часть лежит дальше Марса, переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобную картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна.

В другой раз Энно фотографировал рой метеоритов, проходивший всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энно рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю этеронеф погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за этеронефом в самые большие телескопы, увидели, как погас его электрический свет, – и этеронеф навеки исчез в пространстве.

– Вероятно, этеронеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда воздух ушел из него в пространство, и холод междупланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь этеронеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите; он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами.

При этих словах Энно холод эфирных пустынь как будто проник в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый

островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительно быстром движении, и черная пустота повсюду вокруг... Энно угадал мое настроение.

– Мэнни – надежный кормчий, – сказал он, – и Стэрни не делает ошибок... А смерть... вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни... ведь она – только смерть, не более.

Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью.

Химик Летта привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нэтти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном вопросе – о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценно и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его для себя. А добродушный старик Летта с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью и даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я несколько не чувствовал себя стесненным.

Летта стал читать мне целый курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся сюда опытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием, – именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму.

Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Мэнни. Летта заканчивал описание очень интересного эксперимента и собирался приступить к его выполнению.

– Будьте осторожны, – сказал ему Мэнни, – я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо; достаточно ничтожнейшей посторонней примеси к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания.

Летта хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам

предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта; и реакция прошла превосходно.

На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз Летта взял его не из той банки, из которой накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришло в голову сказать ему об этом. Обеспокоенный, он тотчас пошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторту на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой этеронефа. Я пошел вместе с ним.

Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило о дверцы шкафа. Затем последовал оглушительный свист и вой и металлическое дребезжанье. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ремennую ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха. Летта сделал то же самое.

– Держитесь крепче – крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело.

Летта быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение растерянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова – я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощанье навеки, – и его руки разжались.

Глухой звук удара, и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял Летта. Глаза его были широко раскрыты, и все лицо как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Мэнни. Он быстро подошел к Летта.

Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нэтти оттолкнул всех с пути и бросился к Летта. Все остальные окружили нас в тревожном молчании.

– Летта умер, – раздался голос Мэнни. – Взрыв во время химического опыта пробил стенку этеронефа, и Летта своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легкие и парализовало

сердце. Смерть была мгновенная. Летта спас нашего гостя, иначе гибель обоих была неизбежна.

У Нэтти вырвалось глухое рыдание.

IX. Прошлое

Несколько дней после катастрофы Нэтти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стэрни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательное выражение. Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый, и математический ум Стэрни не мог не делать сравнения между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена. Мэнни оставался неизменно ровным и спокойным и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне; так же вели себя и Энно, и все остальные.

Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Мэнни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Мэнни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей-марсиан всемирная история.

Я начал, с помощью Нэтти читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие, самые отвлеченные на первый взгляд понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов.

Первая глава имела прямо философский характер и была посвящена идее вселенной как единого целого, все заключающего в себе и все определяющего собой. Эта глава живо напомнила мне произведения того рабочего-мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы.

В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как обособлялись в этой среде первые бесформенные скопления неуловимо-тонкой,

химически неопределившейся материи; скопления эти послужили зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе их наш Млечный Путь с 20 миллиардами солнц, среди которых наше Солнце – одно из самых маленьких.

Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым сочетаниям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные, бесформенные скопления распадались и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизации из них солнц и планет излагалась одинаково с нашей канто-лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и большими подробностями.

– Скажите, Мэнни, – спросил я, – неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами?

– Дело в том, что у нас никогда не начинают обучения с книг, – отвечал Мэнни. – Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми. Раньше чем он возьмется за такую книгу он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобная этой, должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частностях. Цельного человека надо создавать уже в ребенке.

Все это было для меня очень непривычно, но я не стал подробнее расспрашивать Мэнни: мне все равно предстояло непосредственно

познакомиться с марсианскими детьми и системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке.

Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех основное различие заключалось в том, что Марс оказывался вдвое старше Земли и почти вчетверо старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет, я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными.

Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накапливались среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается «царство протистов».

Картина дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ или, вернее, к их общему генеалогическому дереву; от протистов до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны, – вместе с различными боковыми отверстиями. При сравнении с «земной» линией развития оказывалось, что на пути от первичной клетки до человека ряд первых звеньев цепи почти одинаков и так же незначительны различия в последних звеньях, а в средних различий гораздо больше. Это представлялось мне чрезвычайно странным.

– Этот вопрос, – сказал мне Нэтти, – насколько я знаю, еще не исследован специально. Ведь еще двадцать лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на Земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико; и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом.

– И притом, – заметил Мэнни, – высший тип, который завладеет своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия так же частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий.

Я вспомнил, как мне еще во время моих университетских занятий та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу: у спрутов, морских головоногих моллюсков, высших организмов целой ветви развития, глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви – позвоночных; а между тем происхождение и развитие глаз головоногих совершенно иное, настолько иное, что даже соответственные слои тканей зрительного аппарата расположены у них в обратном нашему порядке...

Так или иначе, факт был налицо: на другой планете жили люди, похожие на нас, и мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей.

Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, то же обособленное существование отдельных общин, то же развитие связи между ними посредством обмена. Но дальше начиналось расхождение, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере.

Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов; но войны играли сравнительно небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились; а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновений грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения.

Рабства марсиане вовсе не знали; в их феодализме было очень мало военщины; а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям.

Объяснения всему этому я должен был искать сам: марсиане, даже и сам Мэнни, еще только начинали изучать историю земного человечества и не успели произвести сравнительного исследования своего и нашего прошлого.

Я вспомнил один из прежних разговоров с Мэнни. Собираясь изучать язык, на котором говорили между собою мои спутники, я поинтересовался узнать, был ли это наиболее распространенный из всех, какие существуют на Марсе. Мэнни объяснил, что это единственный литературный и разговорный язык всех марсиан.

– Когда-то и у нас, – прибавил Мэнни, – люди из различных стран не понимали друг друга; но уже давно, за несколько сот лет до социалистического переворота, все различные диалекты сблизились и слились в одном всеобщем языке. Это произошло свободно и стихийно, – никто не старался и никто не думал об этом. Долго сохранились еще некоторые местные особенности; так что были как бы отдельные наречия, но достаточно понятные для всех. Развитие литературы покончило и с ними.

– Я только одним могу объяснить себе это, – сказал я. – Очевидно на вашей планете сношения между людьми с самого начала были гораздо шире, легче и теснее, чем у нас.

– Именно так, – отвечал Мэнни. – На Марсе нет ни ваших громадных океанов ни ваших непроходимых горных хребтов. Наши моря не велики и нигде не производят полного разрыва суши на самостоятельные континенты; наши горы не высоки, кроме немногих отдельных вершин. Вся поверхность нашей планеты вчетверо менее обширна, чем поверхность Земли; а между тем сила тяжести у нас в два с половиной раза меньше, и благодаря легкости тела мы можем довольно быстро передвигаться даже без искусственных средств сообщения: мы бегаем сами не хуже и устаем при этом не больше, чем вы, когда ездите верхом на лошадях. Природа поставила между нашими племенами гораздо меньше стен и перегородок, чем у вас.

Такова и была, значит, первоначальная и основная причина, помешавшая резкому расовому и национальному разъединению марсианского человечества, а вместе с тем и полному развитию войск, милитаризма и вообще системы массового убийства. Вероятно, капитализм силою своих противоречий все-таки дошел бы до создания всех этих отличий высокой культуры; но и развитие

капитализма шло там своеобразно, выдвигая новые условия для политического объединения всех племен и народов Марса. Именно в земледелии мелкое крестьянство было весьма рано вытеснено крупным капиталистическим хозяйством, и скоро после этого произошла национализация всей земли.

– Причина заключалась в непрерывно возростававшем высыхании почвы, с которым мелкие земледельцы не в силах были бороться. Кора планеты глубоко поглощала воду и не отдавала ее обратно. Это было продолжение того стихийного процесса, благодаря которому существовавшие некогда на Марсе океаны омелели и превратились в сравнительно небольшие замкнутые моря. Такой процесс поглощения идет и на нашей Земле, но здесь он пока еще не зашел далеко; на Марсе, который вдвое старше Земли, положение уже тысячу лет тому назад успело стать серьезным, так как с уменьшением морей, естественно, шло рядом уменьшение облаков, дождей, а значит и обмеление рек и высыхание ручьев. Искусственное орошение стало необходимым в большинстве местностей. Что могли тут сделать независимые мелкие земледельцы?

В одних случаях они прямо разорялись, и их земли переходили к окрестным крупным землевладельцам, располагавшим достаточными капиталами для устройства орошения. В других случаях крестьяне образовывали большие ассоциации, соединяя свои средства для этого общего дела. Но рано или поздно таким ассоциациям приходилось испытывать недостаток в денежных средствах, вначале, казалось бы, лишь временный; а раз только заключались первые займы у крупных капиталистов, дела ассоциаций начали итти под гору все быстрее: немалые проценты по займам увеличивали издержки ведения дела, наступала необходимость в новых займах и т. п. Ассоциации подпали под экономическую власть своих кредиторов, и те их в конце концов, разоряли, захватывая себе сразу участки целых сотен и тысяч крестьян.

Так вся возделанная земля перешла к нескольким тысячам крупных земельных капиталистов; но внутри материков оставались еще огромные пустыни, где вода не была, да и не могла быть проведена средствами отдельных капиталистов. Когда государственная власть, к тому времени уже вполне демократическая, принуждена была заняться этим делом, чтобы отвлечь возрастающий

излишек пролетариата и помочь остаткам вымирающего крестьянства, то и у самой этой власти не оказалось таких средств, какие были необходимы для проведения гигантских каналов. Синдикаты капиталистов хотели взять дело в свои руки, но против этого восстал весь народ, понимая, что тогда эти синдикаты вполне закрепостят себе и государство. После долгой борьбы и отчаянного сопротивления земельных капиталистов был введен большой прогрессивный налог на доход от земли. Средства, добытые от этого налога, послужили фондом для гигантских работ по проведению каналов. Сила лендлордов была подорвана, и вскоре совершилась национализация земли. При этом исчезли последние остатки мелкого крестьянства, потому что государство в собственных интересах сдавало землю только крупным капиталистам, и земледельческие предприятия стали еще более обширными, чем прежде. Таким образом знаменитые каналы явились и могучими двигателями экономического развития и прочной опорой политического единства целого человечества.

Когда я прочитал все это, то не мог удержаться, чтобы не выразить Мэнни своего изумления, что руками людей могли быть созданы такие гигантские водные пути, видимые даже с Земли в наши плохие телескопы.

– Тут вы отчасти ошибаетесь, – заметил Мэнни: – эти каналы, действительно, громадны, но все же не по несколько десятков километров ширины, – только при таких размерах могли бы, собственно, их разглядеть ваши астрономы. То, что они видят, это широкие полосы лесов, разведенных нами вдоль каналов, чтобы поддерживать равномерную влажность воздуха и тем самым не допускать слишком быстрого испарения воды. Кажется некоторые из ваших ученых угадали это.

Эпоха прорытия каналов была временем большого процветания во всех областях производства и глубокого затишья в классовой борьбе. Спрос на рабочую силу был громадный, и безработица исчезла. Но когда Великие работы закончились, а вслед за ними закончилась и шедшая рядом капиталистическая колонизация прежних пустынь, то вскоре разразился промышленный кризис, и «социальный мир» был нарушен. Дело пошло к социальной революции. И опять ход событий был довольно мирный: главным

оружием рабочих были стачки, до восстаний дело доходило лишь в редких случаях и в немногих местностях, почти исключительно в земледельческих районах. Шаг за шагом хозяева отступали перед неизбежным; и даже тогда, когда государственная власть оказалась в руках рабочей партии, со стороны побежденных не последовало попытки отстоять свое дело насилием.

Выкупа, в точном смысле этого слова, при социализации орудий труда применено не было. Но капиталисты были сначала оставлены на пенсиях. Многие из них играли затем крупную роль в организации общественных мероприятий. Нелегко было преодолеть трудности распределения рабочих сил согласно призванию самих работников. Около столетия существовал обязательный для всех, кроме пенсионеров-капиталистов, рабочий день, сначала около 6 часов, потом все меньше. Но прогресс техники и точный учет свободного труда помогли избавиться от этих последних остатков старой системы.

Вся картина ровной, не залитой, как у нас, сплошь огнем и кровью эволюции общества вызывала во мне невольное чувство зависти. Я говорил об этом с Нэтти, когда мы дочитывали книгу.

– Не знаю, – задумчиво сказал юноша, – но мне кажется, что вы не правы. Противоречия острее на Земле, это верно; и ее природа расточает удары и смерть гораздо щедрее нашей. Но может быть это именно потому, что богатства земной природы изначально несравненно большие, и Солнце гораздо больше дает ей своей живой силы. Посмотрите, на сколько миллионов лет старше наша планета, а ее человечество возникло лишь на несколько десятков тысяч лет раньше вашего и теперь идет впереди его по развитию едва ли на две – три сотни лет. Мне оба человечества представляются как два брата. У старшего натура спокойная и уравновешенная, у младшего – бурная и порывистая. Младший брат хуже тратит свои силы и делает больше ошибок: его детство было болезненное и беспокойное, а теперь, в переходном возрасте к юности, бывают часто мучительные судорожные припадки. Но не выйдет ли из него художник-творец более крупный и сильный, чем его старший брат, не сумеет ли он тогда лучше и богаче украсить нашу великую природу? Не знаю, но мне кажется, что это будет так.

Управляемый ясной головой Мэнни этеронеф без новых приключений продолжил свой путь к далекой цели. Мне удалось уже сносно приспособиться к условиям невесомого существования, а также и справиться с главными трудностями языка марсиан, когда Мэнни объявил нам всем, что мы прошли половину пути и достигли наивысшего предела скорости, которая отныне будет уменьшаться.

В точно указанный Мэнни момент этеронеф быстро и плавно перевернулся. Земля, которая давно уже из большого светлого серпа успела сделаться маленьким, а из маленького серпа – яркой зеленоватой звездой вблизи солнечного диска, теперь из нижней части черного шара небосвода перешла в верхнее полушарие, а красная звезда Марса, ярко сиявшая над нашими головами, оказалась внизу.

Прошли еще десятки и сотни часов, и звезда Марса превратилась в ясный маленький диск, и скоро стали заметны две маленькие звездочки его спутников – Деймос и Фобос, невинные крошечные планетки, ничем не заслужившие этих грозных имен, означающих по-гречески «Ужас» и «Страх». Серьезные марсиане оживились и все чаще приходили в обсерваторию Энно – посмотреть на родные страны. Смотрел и я, но плохо понимал то, что видел, несмотря на терпеливые объяснения Энно. Там было действительно много для меня странного.

Красные пятна оказывались лесами и лугами, а совсем темные – полями, готовыми к жатве. Города представлялись в виде синеватых пятен, и только воды и снега имели понятный для меня оттенок. Веселый Энно иногда заставлял меня угадывать, что я вижу в поле аппарата, и мои наивные ошибки сильно смешили его и Нэтти; я же за это платил им шутками, в свою очередь, называя их планету царством ученых слов и перепутанных красок.

Размеры красного диска все более возрастали – скоро он уже во много раз превосходил заметно уменьшившийся кружок Солнца и был похож на астрономическую карту без надписей. Сила тяжести тоже заметно начала прибавляться, что было для меня удивительно приятно. Деймос и Фобос из светлых точек превратились в крошечные, но ясно очерченные кружки.

Еще 15–20 часов, и вот уже Марс, как плоскошарие, разворачивается под нами, и простым глазом я вижу больше, чем дают все астрономические карты наших ученых. Диск Деймоса скользит по этой круглой карте, а Фобос нам не виден, – он теперь по ту сторону планеты.

Все радуются вокруг меня – я один не могу преодолеть тревожного, тоскливого ожидания.

Ближе и ближе... Никто не в силах чем бы то ни было заниматься, – все смотрят вниз, где разворачивается другой мир, для них родной, для меня полный тайны и загадок. Одного Мэнни нет с нами – он стоит у машины: последние часы пути самые опасные, надо проверять расстояние и регулировать скорость.

Что же я, невольный Колумб этого мира, не чувствую ни радости, ни гордости, ни даже того успокоения, которое должен принести вид твердого берега после долгого пути по океану Неосвязаемого?

Будущие события уже бросают тень на настоящее...

Остается всего два часа. Скоро мы вступим в пределы атмосферы. Сердце начинает мучительно биться; я не могу больше смотреть и ухожу в свою комнату. Нэтти уходит за мною.

Он начинает со мной разговор – не о настоящем, а о прошлом, о далекой Земле, там вверху.

– Вы должны еще туда вернуться, когда выполните задачу, – говорит он, и его слова звучат для меня как нежное напоминание о мужестве.

Мы разговариваем об этой задаче, о ее необходимости и ее трудностях. Время незаметно для меня проходит.

Нэтти смотрит на хронометр.

– Мы приехали, пойдём к ним! – говорит он.

Этеронэф остановился, сдвигаются широкие металлические пластинки, свежий воздух врывается внутрь. Чистое зеленовато-синее небо над нами, толпы народа вокруг.

Мэнни и Стэрни выходят первыми, они несут на руках прозрачный гроб, где лежит оледенелое тело погибшего товарища – Летта.

За ним выходят другие. Я и Нэтти выходим последними и вместе, рука об руку, идем через многотысячную толпу людей, похожих на него...

Часть II

1. У Мэнни

На первое время я поселился у Мэнни, в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землей. Надземная часть городка разбросана среди парка на протяжении десятка квадратных километров: это несколько сот жилищ работников лаборатории, большой Дом собраний. Потребительный склад – нечто вроде универсальной лавки и Станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Мэнни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском в лабораторию.

Первое, что меня поразило в природе Марса и с чем мне всего труднее было освоиться, – это красный цвет растений. Их красящее вещество, по составу чрезвычайно близкое в хлорофиллу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономике природы: создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей.

Заботливый Нэтти предлагал мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался.

– Это цвет нашего социалистического знамени, – сказал я. – Должен же я освоиться с вашей социалистической природой.

– Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде, – заметил Мэнни. – Листья земных растений имеют и красный оттенок – он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне поглощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас.

Я не могу тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на Марсе или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но

богатую кислородом, или его небо, глубокое и темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яркими вечерними или утренними звездами – Венерой и Землей. Все это странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминаний, не так тесно связано с задачами моего повествования. Люди и их отношения – вот что всего важнее для меня; и во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее.

Мэнни жил в небольшом двухэтажном домике, по архитектуре не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещалась спальня и комната для бесед с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения, ради его успокаивающего действия, и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, который это освещение придает человеческому лицу.

Все рабочие комнаты – кабинет, домашняя лаборатория, комната сообщений – находились в нижнем этаже, большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот свет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан является привычным возбуждением, полезным при работе.

В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произнесении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется в целостности, так что ею можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее.

Над письменным столом Мэнни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно напоминали Мэнни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением, чуждым Мэнни, на лице которого всегда

была только спокойная и твердая воля. Мэнни рассказал мне историю этого человека.

То был предок Мэнни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорытия Великих каналов; эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот человек, начинался в болотистой, нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тем, кто от болезней потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных: он подстрекал их устроить стачку, с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план Великих работ, и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо... Когда тот узнал все это, он пригласил к себе старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необходимым. Его приговорили к многолетнему заключению в тюрьме.

Но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ; начались недоразумения, хищения, беспорядки, весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешило обратиться к прежнему инженеру; ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы.

Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дела на местах; при этом были разогнаны и отданы под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Заработная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда была перестроена заново, планы работ пересмотрены и исправлены. Скоро порядок был

вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера.

А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы; и одновременно он готовил себе заместителя в лице одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу; и в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер покончил с собой.

Когда Мэнни рассказывал мне все это, его лицо как-то странно изменилось; у него появилось тоже выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения.

Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на каком угодно расстоянии изображения того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Мэнни со Станцией сообщений, а через нее – со всеми другими домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которою управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно: на нескольких тонкорешетчатых пластинках видны были умеренные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними – десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Мэнни с просьбой взять меня с собой в эту лабораторию.

– Это неудобно, – отвечал он. – Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях; и как ни мала при наших предосторожностях опасность взрыва или отравления невидимыми лучами, но эта опасность всегда существует. Вы не должны ей подвергаться, потому что вы теперь у нас один и заменить вас было бы некем.

В домашней лаборатории Мэнни находились всегда только те приборы и материалы, которые относились к его исследованиям,

выполняемым в данное время.

В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно.

– Где живет Нэтти? – спросил я у Мэнни.

– В большом городе, в двух часах воздушного пути отсюда. Там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Нэтти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор.

– А машинный завод мне не воспрещается осмотреть при случае?

– Конечно, нет: там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда вместе.

Так мы и решили.

II. На заводе

Около 500 километров в два часа – скорость самого быстрого соколиного полета, не достигнутая до сих пор даже нашими электрическими дорогами... Внизу разворачивались в быстрой смене незнакомые, странные ландшафты; еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами; мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на Земле. Вот вдаль стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красивого домика – домика Нэтти.

Нэтти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше: завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера.

Пять громадных зданий, расположенных крестообразно, все одинакового устройства; чистый стеклянный свод, лежащий на нескольких десятках темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс; такие же стеклянные пластинки, поочередно прозрачные и матовые, между колоннами в виде стен. Мы

остановились у центрального, самого большого корпуса, перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров десять ширины и метров двенадцать вышины. Потолок первого этажа горизонтально перерезывал посредине пространство ворот; несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса.

Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплетавшая со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая подобная сеть, еще выше – третья, четвертая, пятая; все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусками железных решеток, все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей.

Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, неярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, пилили, строгают, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно; большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью; колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого грозного механизма.

Самый шум машин, когда ухо к нему несколько привыкало, начинал казаться почти мелодичным, кроме тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн и все содрогается в громовом ударе.

Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звуков. В выражении их лиц не было напряженной озабоченности, только спокойное внимание; они казались любознательными, учеными наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем; им просто интересно видеть, как громадные куски металла, на рельсовых платформах выплывающие под прозрачный купол, попадают в железные объятия темных чудовищ, как эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми, твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими, острыми

когтями и как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей с загадочным назначением. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними: это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожною, недостойною грозной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма.

Когда мы наконец вышли из корпуса, водивший нас техник спросил, желаем ли мы осматривать другие корпуса и вспомогательные строения сейчас же или намерены сделать перерыв для отдыха. Я высказался за перерыв.

– Я видел машины и работников, – сказал я, – но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне хотелось бы расспросить вас.

Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков – это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось:

«Машинное производство имеет излишек в 968.757 рабочих часов ежедневно, из них 11.325 часов труда опытных специалистов».

«На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов».

«Нет недостатка работников в производствах: земледельческом, горном, земляных работ, химическом...» и т. д. (было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда).

На таблице номер второй было написано:

«Производство одежды имеет недостаток в 392.685 рабочих часов ежедневно, из них 21.380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7.852 часа труда специалистов-организаторов».

«Производство обуви нуждается в 79.360 часах; из них...» и т. д.

«Институт подсчетов – в 3.078 часах»... и т. д.

Такого же содержания были и таблицы номеров 3-го и 4-го. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и проч.

– Почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? – спросил я.

– Это очень понятно, – отвечал Мэнни, – посредством таблиц надо повлиять на распределение труда: для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда, при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям, человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия.

В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит.

– Цифры меняются каждый час, – объяснил Мэнни, – в течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду.

– Но каким образом центральная статистика устанавливает цифры излишка и недочета?

– Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстанавливает равновесие.

– А потребление продуктов ничем не ограничено?

– Решительно ничем: каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет.

– И при этом не требуется ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда или обязательств его выполнить, или вообще чего-нибудь в этом роде?

– Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка: труд – естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни.

– Но если потребление ничем не ограничено, то не возможны ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты?

– Конечно, нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушанье в двойном, в тройном против обычного количестве или захочет переменить десять костюмов в десять дней, но общество в три тысячи миллионов человек не подвержено таким колебаниям. При таких больших числах уклонения в ту и другую сторону уравниваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности.

– Таким образом, ваша статистика работает почти автоматически – простые вычисления, и ничего больше?

– Ну нет. Трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить за новыми изобретениями и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина – она сразу требует перемещения труда как в той области, где применяется, так и в машинном производстве, а иногда и в производстве материалов для той или другой отрасли. Истощается руда, открываются новые минеральные богатства – опять перемещение труда в целом ряде рельсовых путей и т. д. Все это надо рассчитать с самого начала если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения, а это вовсе не легко, пока не будут получены данные прямого наблюдения.

– При таких трудностях, – заметил я, – очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторый излишек труда?

– Именно так – в этом и заключается главная опора нашей системы. Лет двести тому назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно: существовал обязательный

рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призванием товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистике временные трудности, облегчало главную задачу – переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сокращался, затем, когда во всех областях труда оказался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам: тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов, не более, – это при миллионах и десятках миллионов часов труда, который уже затрачивается в тех же производствах.

– Однако и недостаток труда все же бывает, – возразил я. – Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли?

– И не только последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для общества отраслях – в производстве пищи, одежды, зданий, машин – эта надбавка достигает 6 процентов, в менее важных – 1–2 процента. Таким образом, цифры недостатка в этих таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни тысяч часов и не были пополнены, это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток.

– А сколько времени работает ежедневно каждый, например, на этом заводе?

– Большею частью полтора, два, два с половиной часа, – ответил техник, – но бывает и меньше, и больше. Вот, например, товарищ, который заведует плавным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть шесть часов ежедневно.

Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки, немного более длинные, чем наши, заключают в себе 10 часов. Оказалось: обычная работа 4, 5, 6 часов; наибольшая продолжительность – 15 часов, то есть такая, как у нас, на Земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях.

– А разве не вредно товарищу на молоте работать так много? – спросил я.

– Пока еще не вредно, – отвечал Нэтти, – еще с полгода он может позволять себе такую роскошь. Но я, конечно, предупредил его об опасностях, которыми угрожает ему это увлечение. Одна из них – это возможность судорожного психического припадка, который с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел на этом же заводе с другим механиком, таким же любителем сильных ощущений. Только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство не удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пошатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе.

– А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда?

– Конечно, нет, – засмеялся Мэнни. – Почему именно он должен за свой счет восстанавливать равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает. Каждый принимает ее во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ею одной. Если бы вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа, а в центральной статистике цифра излишка увеличилась бы на один-два часа, только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых перемещениях труда, но каждая личность свободна.

За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Мэнни, отправились дальше осматривать завод. А Мэнни уехал домой – его вызывали в лабораторию.

Вечером я решил остаться у Нэтти: он обещал на следующий день свести меня в «дом детей», где одной из воспитательниц была его мать.

III. «Дом детей»

«Дом детей» занимал целую значительную и притом лучшую часть города с населением в 15–20 тысяч человек. Это население составляли действительно почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения имеются во всех больших городах планеты, а во многих случаях образуют и самостоятельные города; только в маленьких поселениях, таких, как «химический городок» Мэнни, их по большей части нет.

Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игр и гимнастики, грядками цветов и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц... Толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола – благодаря одинаковому для мальчиков и девочек костюму... Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму – в основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле: у мужчин платье более точно передает формы тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае та немолодая особа, которая встретила нас при выходе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была, несомненно, женщина, ибо Нэтти, обнимая, назвал ее мамой. В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени – Нэлла.

Марсианка уже знала о цели нашего приезда и прямо повела нас в свой «дом детей», по всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькие чудовища по пути присоединялись к нам и шли за нами, с интересом наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты, – они хорошо знали, кто я такой; и когда мы обходили последние отделения, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам.

Всего жило в этом доме около трехсот детей различных возрастов. Я спросил Нэllu, почему в «домах детей» все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчило бы разделение труда между воспитателями и упростило бы всю их работу.

– Потому что тогда не было бы действительно воспитания, – отвечала мне Нэлла. – Чтобы получить воспитание для общества,

ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга. Изолировать один возраст от другого – значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов дает наибольший простор. Старшие дети – наши лучшие помощники в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей.

– Однако в этом доме дети распределены по отделениям сообразно с-возрастом, это как будто не согласуется с тем, что вы говорите?

– Дети собираются по отделениям только для того, чтобы спать, завтракать, обедать, тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты. Но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-нибудь чтения, беллетристические или научные, для детей одного отделения, в аудиторию всегда набивается масса ребятшек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество и сами любят сходиться с детьми других возрастов, а особенно со взрослыми.

– Нэлла, – сказал в это время, выступая из толпы, один малыш, – Эста унесла мою лодочку, которую я сам сделал; возьми лодочку у нее и отдай мне.

– А она где? – спросила Нэлла.

– Она убежала к пруду спускать лодочку на воду, – объяснил ребенок.

– Ну, у меня сейчас нет времени идти туда; пусть кто-нибудь из старших детей идет с тобой и убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше иди туда один и помогай ей спускать лодочку; нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась, если сделана хорошо.

Ребенок ушел, а Нэлла обратилась к остальным:

– А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотня детских глаз. Представь себе, Эльви, что на тебя внимательно смотрит целая толпа иностранцев. Что бы ты тогда сделал?

– Я бы убежал, – храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы вышли в сад.

– Да, вот посмотрите, какова сила прошлого, – с улыбкой сказала воспитательница. – Казалось бы, коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда и ни в чем не приходится, – откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет: «моя» лодочка, «я сам» делал. И это очень часто: иногда дело доходит и до драки. Ничего не поделаешь – общий закон жизни: развитие организма сокращенно повторяет развитие вида, развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно-индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок. Только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого.

– А вы знакомите детей с этим прошлым? – спросил я.

– Конечно, знакомим: и они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки, красивые, немножко страшные сказки о другом мире, далеком и странном, но пробуждающем своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атавистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, ребенок научается яснее воспринимать связь времен, и картины-сказки становятся для него действительностью истории, преобразуются в живые звенья живой непрерывности.

Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с какими-нибудь ремесленными инструментами, то постройкой беседок, то просто оживленным разговором. Все они с интересом оборачивались на меня, но никто не шел за нами: по-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавшихся групп было смешанного возраста; во многих было по одному, по двое взрослых.

– В вашем доме довольно много воспитателей, – заметил я.

– Да, особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей-специалистов у нас здесь всего трое; остальные взрослые, которых вы

видите, это большей частью матери и отцы, временно поселяющиеся у нас около своих детей, или молодые люди, желающие изучить дело воспитания.

– Что же, все желающие родители могут здесь поселиться, чтобы жить со своими детьми?

– Да, разумеется; и некоторые из матерей живут здесь по нескольку лет. Но большинство их приезжает время от времени на неделю, на две, на месяц. Отцы живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, и я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало.

– Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях?

– Да, дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам говорила, отчасти же, особенно у детей, склонных сильно углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь и из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно главным образом те, кто всего больше занимается научными исследованиями или художественным творчеством.

В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, на мой взгляд, лет шести или семи, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги; ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, как мы подошли, он настиг свою добычу – это оказалось нечто вроде большой лягушки – и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой.

– Зачем ты это сделал, Альдо? – спокойно спросила Нэлла.

– Я никак не мог ее поймать, она все убегала, – объяснил мальчик.

– А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломил ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это.

Мальчик подал тросточку Нэлле, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул.

– Тебе больно, Альдо? – все так же спокойно спросила воспитательница.

– Очень больно, злая Нэлла! – отвечал он.

– А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать, ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду или ее загрызут злые животные, от которых она не может убежать. Что ты об этом думаешь, Альдо?

Ребенок стоял со слезами боли на глазах, придерживая ушибленную руку другой рукой. Но он задумался. Через минуту он сказал:

– Надо починить ей лапку.

– Вот это верно, – сказал Нэтти. – Дай, я научу тебя, как это сделать.

Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нэтти вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альдо по его указанию принес ему несколько тонких щепочек. Затем оба, с серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки.

Вскоре я и Нэтти собрались уходить домой.

– Да, вот что, – вспомнила Нэлла, – сегодня вечером вы могли бы застать у нас вашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венера.

– Значит, он живет в этом же городе? – спросил я.

– Нет, обсерватория, в которой он работает, лежит в трех часах пути отсюда. Но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу. Поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное.

Вечером, в назначенный час, мы, разумеется, опять явились в «дом детей», в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме совсем маленьких, и несколько десятков взрослых. Энно радостно меня встретил.

– Я выбрал тему как будто для вас, – шутливо говорил он. – Вас огорчает отсталость вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни пока только динозавры и летучие ящеры, а их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на ихтиозавров?

Это тамошние Ротшильды и Рокфеллеры, правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурные. Там царство самого первоначального накопления, забытого в «Капитале» вашего Маркса... Ну, Нэлла уже хмурится на мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю.

Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобразными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми фотографиями на экране, занимавшем целую стену залы. Голос Энно один был слышен во мраке; глубокое внимание царило в зале. Когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу, произошла странная маленькая сцена, не замеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Нэллы, вдруг тихо заплакал.

– Что с тобой? – наклонившись к нему, спросила Нэлла.

– Мне жаль чудовище. Ему было очень больно, и оно совсем умерло, – тихо отвечал мальчик.

Нэлла обняла ребенка и стала что-то ему объяснять вполголоса, но он не скоро еще успокоился.

А Энно между тем рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в сотни миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких сот метров, о запасах энергии на сотни тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энно кончил и зала осветилась, мне стало даже немного грустно, как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка.

По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразны, как сами слушатели; они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был такой вопрос: через сколько времени на Венере должны были бы из ее собственной природы появиться люди и какое должно у них быть устройство тела?

Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направленные главным образом против того вывода Энно, что в настоящую эпоху Венера – планета очень неудобная для людей и едва ли скоро удастся использовать сколько-нибудь значительно ее великие богатства. Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинства исследователей. Энно указывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массой бактерий создают для людей опасность многих болезней, что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере; что ураганы и грозы затрудняют работу и угрожают жизни людей, и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладеть такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда тысячу врачей, для борьбы с ураганами и грозами – сотни тысяч строителей, которые проведут, где надо, высокие стены и поставят громоотводы. «Пусть девять десятых погибнет, – говорил один пылкий мальчик лет двенадцати, – тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа!» И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих девяти десятых.

Энно мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников; но было видно, что в глубине души он сочувствует им и что в его горячей юной фантазии скрываются такие же решительные планы, разумеется более обдуманные, но, может быть, не менее самоотверженные. Он сам еще не был на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно притягивают его.

Когда беседа закончилась, Энно отправился со мною и Нэтти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне на завтра вместе пойти в музей искусства. Нэтти был занят – его вызывали в другой город на большое совещание врачей.

IV. Музей искусства

– Вот уж никак не предполагал, что у вас существовали особые музеи художественных произведений, – сказал я Энно по дороге в музей. – Я думал, что скульптурные и картинные галереи –

особенность именно капитализма с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает.

– В этом вы и не ошибались, – отвечал Энно. – Большая часть произведений искусства предназначается у нас всегда для общественных зданий – тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем... Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы: эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде, и очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства – это научно-эстетические учреждения, это школы для изучения того, как развиваются искусства или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности.

Музей находился на маленьком острове озера, который узким мостом соединялся с берегом. Самое здание, удлиненным четырехугольником окружавшее сад с высокими фонтанами и множеством синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри.

Там действительно не было такого сумбурного скопления статуй и картин, как в больших музеях Земли. Передо мной в нескольких сотнях образцов прошла цепь развития пластических искусств, от первобытных грубых произведений доисторической эпохи до технически идеальных произведений последнего века. И от начала до конца всюду чувствовалась печать той живой внутренней цельности, которую люди называют «гением». Очевидно, это были лучшие произведения всех эпох.

Чтобы вполне ясно понимать красоту другого мира, надо глубоко знать его жизнь, а чтобы дать другим понятие об этой красоте, необходимо быть самому органически к ней причастным... Вот почему для меня невозможно описать то, что я там видел; я могу дать только намеки, только отрывочные указания на то, что меня всего более поразило.

Основной мотив марсианской, как и нашей, скульптуры – это прекрасное человеческое тело. Различия физического сложения марсиан от сложения земных людей в общем невелики; если не считать резкой разницы в величине глаз и отчасти, значит, в устройстве черепа, то различия эти не превосходят тех, какие существуют между земными расами. Я не сумел бы точно объяснить их – для этого я слишком плохо знаю анатомию; но мой глаз легко привыкал к ним и воспринимал их почти сразу не как безобразие, а как оригинальность.

Я заметил, что мужское и женское сложения сходны в большей мере, чем у большинства земных племен: сравнительно широкие плечи женщин, не так резко, благодаря некоторой полноте выступающая мускулатура мужчин и их менее узкий таз сглаживают разницу. Это, впрочем, относится главным образом к последней эпохе – к эпохе свободного человеческого развития: в статуях капиталистического периода половые различия выражены сильнее. Очевидно, домашнее рабство женщины и лихорадочная борьба за существование мужчины искажают их тело в двух несходных направлениях.

Ни на минуту не исчезало во мне то ясное, то смутное сознание, что передо мною образы чужого мира; оно придавало всем впечатлениям какую-то странную, полупризрачную окраску. И даже прекрасное женское тело этих статуй и картин вызывало во мне непонятное чувство, как будто совсем непохожее на знакомое мне любовно-эстетическое влечение, а похожее скорее на те неясные предчувствия, которые волновали меня когда-то давно, на границе детства и юности.

Статуи ранних эпох были одноцветные, как у нас, позднейшие – естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцветность скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь.

В статуях и картинах древних эпох, как в нашей античной скульптуре, преобладали образы безмятежной гармонии, свободной от всякого напряжения. В средние, переходные эпохи выступает иной

характер: порыв, страсть, волнуемое стремление, иногда смягченное до степени блуждания мечты, эротической или религиозной, иногда резко прорывающееся в предельном напряжении неуравновешенных сил души и тела. В социалистическую эпоху основной характер опять меняется: это гармоничное движение, спокойно-уверенное проявление силы, действие, чуждое болезненности усилия, стремление, свободное от волнения, живая активность, проникнутая сознанием своего стройного единства и своей непобедимой разумности.

Если идеальная женская красота древнего искусства выражала беспредельную возможность любви, а идеальная красота средних веков и времен Возрождения – неутолимую жажду любви, мистическую или чувственную, то здесь, в идеальной красоте другого идущего впереди нас мира воплощалась сама любовь в ее спокойном и гордом самосознании, сама любовь – ясная, светлая, всепобеждающая...

Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредоточивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении... Любимые темы новейших художников – экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти, – сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством.

Отдел живописи и скульптуры составлял одну половину музея, другая была посвящена всецело архитектуре. Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально-полезного. Какую громадную роль в их жизни играет это искусство, о том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ с их грубо украшенной утварью до роскошных общественных домов из стекла и алюминия с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до

гигантских заводов с их грозно-красивыми машинами, до величайших каналов с их гранитными набережными и воздушными мостами, – тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной иллюзией тождества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков; и как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами.

В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи – ни в ее мебели, ни в ее орудиях, ни в ее сооружениях. Я спросил Энно, допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты.

– Никогда, – отвечал Энно, – это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство.

В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям; теперь они ставят памятники только великим событиям; таким, как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким, как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким, как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы (у марсиан раньше существовали и религии). Одним из последних памятников великим людям был памятник того инженера, о котором рассказывал мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками. Когда я в невольной задумчивости остановился перед панорамой памятника, Энно тихо произнес несколько стихов, выражавших сущность душевной трагедии героя.

– Чьи это стихи? – спросил я.

– Мои, – ответил Энно, – я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке; но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

– Значит, у вас в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

– Конечно, – с оттенком удивления сказал Энно. – Разве это кажется вам некрасивым?

– Нет, вовсе не то, – объяснил я, – но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их похотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы.

– Это совершенно несправедливо, – горячо возразил Энно. – Правильно ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому, что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающая ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которая их внутреннее многообразие увеличивает единством наслаждения в искусстве? Без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей... А если рифма действительно феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах.

– Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи?

– Так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней и, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, «стеснять» вашу работу! Вы свободны в выборе целей – это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается.

Мы сошли в сад отдохнуть от массы впечатлений. Был уже вечер, ясный и мягкий весенний вечер. Цветы начинали свертывать свои чашечки и листья, чтобы закрыть их на ночь; эта общая особенность растений Марса, порожденная его холодными ночами. Я возобновил начатый разговор.

– Скажите, какие роды беллетристики у вас теперь преобладают?

– Драма, особенно трагедия, и поэзия картин природы, – ответил Энно.

– В чем же содержание вашей трагедии? Где материал для нее в вашем счастливом мирном сосуществовании?

– Счастливое? мирное? откуда вы это взяли? У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы, и не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза. За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей планеты, наша численность возрастает, и еще несравненно быстрее растут наши потребности. Опасность истощения природных сил и средств уже не раз вставала перед нами то в одной, то в другой области труда. До сих пор нам удавалось преодолеть ее, не прибегая к ненавистному сокращению жизни – в себе и в потомстве; но именно теперь борьба принимает особенно серьезный характер.

– Я никак не думал, что при вашем техническом и научном могуществе возможны такие опасности. Вы говорите, что это уже случилось в вашей истории?

– Еще семьдесят лет тому назад, когда иссякли запасы каменного угля, а переход на водяную и электрическую энергию был далеко еще не завершен, нам, чтобы выполнить громадную перестройку машин, пришлось истребить значительную долю дорогих нам лесов нашей планеты, что на десятки лет обезобразило ее и ухудшило климат. Потом, когда мы оправились от этого кризиса, лет двадцать тому назад, оказалось, что приходят к концу железные руды. Началось спешное изучение твердых сплавов алюминия, и громадная доля технических сил, которыми мы располагали, была направлена на электрическое добывание алюминия из почвы. Теперь, по вычислениям статистиков, нам угрожает через тридцать лет недостаток пищи, если до того времени не будет выполнен синтез белковых веществ из элементов.

– А другие планеты? – возразил я. – Разве там вы не можете найти, чем пополнить недостаток?

– Где? Венера, по-видимому, еще недоступна. Земля? Она имеет свое человечество, и вообще до сих пор не выяснено, насколько удастся нам использовать ее силы. На переезд туда нужна каждый раз громадная затрата энергии; а запасы радирующей материи, необходимой для этого, по словам Мэнни, который недавно рассказывал мне о своих последних исследованиях, очень невелики на нашей планете. Нет, трудности повсюду значительны; и чем теснее наше человечество смыкает свои ряды для завоевания природы, тем теснее смыкаются и стихии для мести за победы.

– Но всегда же достаточно, например, сократить размножение, чтобы поправить дело?

– Сократить размножение? Да ведь это и есть победа стихий. Это отказ от безграничного роста жизни, это неизбежная ее остановка на одной из ближайших ступеней. Мы побеждаем, пока нападаем. Когда же мы откажемся от роста нашей армии, это будет значить, что мы уже осаждены стихиями со всех сторон. Тогда станет ослабевать вера в нашу коллективную силу, в нашу великую общую жизнь. А вместе с этой верой будет теряться и смысл жизни каждого из нас, потому что в каждом из нас, маленьких клеток великого организма, живет целое, и каждый живет этим целым. Нет, сократить размножение – это последнее, на что мы бы решились; а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца.

– Ну хорошо, я понимаю, что трагедия целого для вас всегда существует, по крайней мере, как угрожающая возможность. Но пока победа остается еще за человечеством, личность достаточно защищена от этой трагедии коллективностью; даже когда наступает прямая опасность, гигантские усилия и страдания напряженной борьбы так ровно распределяются между бесчисленными личностями, что не могут серьезно нарушить их спокойного счастья. А для такого счастья у вас, кажется, есть все, что надо.

– Спокойное счастье! Да разве может личность не чувствовать сильно и глубоко потрясений жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в

нем свое сознание и охватить его своим сознанием? Вам не понятны эти противоречия? Это потому, что они затемнены в вашем мире другими, более близкими и грубыми. Борьба классов, групп, личностей отнимает у вас идею целого, а с ней и то счастье, и те страдания, которые она приносит. Я видел ваш мир; я не мог бы вынести десятой доли того безумия, среди которого живут ваши братья. Но именно поэтому я не взялся бы решить: кто из нас ближе к спокойному счастью: чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы.

– Но скажите, Энно, разве, например, вы не счастливый человек? Молодость, наука, поэзия и, наверное, любовь... Что могли вы испытать такого тяжелого, чтобы говорить настолько горячо о трагедии жизни?

– Это очень удачно, – засмеялся Энно, и странно звучал его смех. – Вы не знаете, что веселый Энно один раз уже решил было умереть. И если бы Мэнни всего на один день опоздал написать ему шесть слов, расстроивших все расчеты: «Не хотите ли ехать на Землю?» – то у вас не было бы вашего веселого спутника. Но сейчас я не сумел бы объяснить вам всего этого. Вы сами увидите потом, что если есть у нас счастье, так только не то мирное и спокойное счастье, о котором вы говорили.

Я не решился идти дальше в вопросах. Мы встали и вернулись в музей. Но я не мог больше систематически осматривать коллекции: мое внимание было рассеяно, мысли ускользали. Я остановился в отделе скульптуры перед одной из новейших статуй, изображавших прекрасного мальчика. Черты его лица напоминали Нэтти; но всего больше меня поразило то искусство, с которым художник сумел в несложившемся теле, в незаконченных чертах, в тревожных, пытливо вглядывающихся глазах ребенка воплотить зарождающуюся гениальность. Я долго неподвижно стоял перед статуей, и все остальное успело исчезнуть из моего сознания, когда голос Энно заставил меня очнуться.

– Это вы, – сказал он, указывая на мальчика, – это ваш мир. Это будет чудесный мир, но он еще в детстве; и посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание... Он в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!

К радостному чувству, которое вызвали во мне эти слова, примешивалось странное сожаление:

«Зачем не Нэтти сказал это!»

У. В лечебнице

Я возвратился домой очень утомленный, а после двух бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе я решил опять отправиться к Нэтти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нэтти с утра работал в лечебнице; там я и нашел его за приемом приходящих больных.

Когда Нэтти увидал меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдельную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий, приятный запах незнакомых мне духов, и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал:

– Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь. На сегодня я беру все это себе. Отдохните, я потом приду.

Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не заботился, так как он взял на себя все мысли и заботы. Это было очень приятно, и через несколько минут я заснул. Когда я очнулся, Нэтти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня.

– Вам теперь лучше? – спросил он.

– Я совершенно здоров, а вы – гениальный врач, – отвечал я. – Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне.

– Моя работа на сегодня уже кончена. Если хотите, я покажу вам нашу лечебницу, – предложил Нэтти.

Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному красивому зданию.

Среди больных преобладали хирургические и нервные. Большая часть хирургических были жертвы несчастных случаев с машинами.

– Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений? – спросил я Нэтти.

– Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше двух миллионов человек, – на такой

район несколько десятков пострадавших не так много. Чаще всего это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают: у нас ведь все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые и художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности: внимание им часто изменяет, они задумываются или забываются в созерцании.

– А нервные больные – это, конечно, главным образом от переутомления?

– Да, таких немало. Но не меньше и болезней, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например, смертью близких людей.

– А здесь есть душевно-больные с затемненным или спутанным сознанием?

– Нет, таких здесь нет; для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим.

– В этих случаях и у вас прибегают к насилию над больными?

– Настолько, насколько это безусловно необходимо, разумеется.

– Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в «доме детей». Скажите: вам, значит, не удастся вполне устранить эти элементы из вашей жизни, вы принуждены их сознательно допускать?

– Да, как мы допускаем болезнь и смерть или, пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты?

– Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами.

– Но ведь их главное различие вовсе не в том заключается, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас то и другое облекается в законы, внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. В том и другом случае ни из него, ни для него не создается никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных повелений.

– Но установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевно-больных или ваших детей?

– Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматриваются ни все случаи необходимости насилия, ни все способы его применения, ни его степень, – все это зависит от совокупности действительных условий.

– Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными?

– Что означает это слово – «произвол»? Если оно означает ненужное, излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это.

Мы миновали комнаты больных, операционные, комнаты лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу, через прозрачные стены которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины, мебель была роскошна и изящна.

– Это комната умирающих, – сказал Нетти.

– Вы приносите сюда всех умирающих? – спросил я.

– Да, или они сами сюда приходят, – отвечал Нетти.

– Но разве ваши умирающие могут еще сами ходить? – удивился я.

– Те, которые физически здоровы, конечно, могут.

Я понял, что речь шла о самоубийцах.

– Вы предоставляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела?

– Да, и все средства спокойной, безболезненной смерти.

– И при этом никаких препятствий?

– Если сознание пациента ясно и его решение твердо, то какие же могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, другие нет...

– И самоубийства очень часты между вами?

– Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца.

– Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья?

– Да, бывает и это, но это не часто. На моей памяти в этой лечебнице было два таких случая; в третьем случае попытку удалось остановить.

– Кто же были эти несчастные и что привело их к гибели?

– Первый был мой учитель, знаменитый врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Это направило его ум и энергию в сторону медицины, но это и погубило его. Он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива, вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как ваша холера, но еще гораздо опаснее и в девяти случаях из десяти оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи не могли даже исполнять просьб своих больных о скорой и легкой смерти: ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его исследования помогли довольно скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить.

– Сколько лет ему было тогда?

– По нашему счету – около пятидесяти. У нас это еще совсем молодой возраст.

– А другой случай?

– Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно.

– И наконец, третий случай?

– Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший.

– Это правда, – сказал я. – Но объясните мне другое: почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость? Особенность ли это вашей расы или результат лучших условий жизни, или еще что-нибудь?

– Раса тут ни при чем: лет двести тому назад мы были вдвое менее долговечны. Лучшие условия жизни? Да, в значительной мере именно это. Но не только это. Главную роль тут играет применяемое нами обновление жизни.

– Это что же такое?

– Вещь, в сущности, очень простая, но вам она, вероятно, покажется странной. А между тем в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другою. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одно, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению – «бессмертие» их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных: здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более совершенный зародыш третьего. Наконец, вы знаете уже и применение кровяных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям – в виде, например, повышенного сопротивления той или другой болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови и между двумя человеческими существами, из которых каждое может передать другому массу условий повышения жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека другому и обратно, путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани.

– И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь?

– Отчасти да, но не вполне, разумеется, потому что кровь не все в организме и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого: то, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не

хватает этому организму; энергия и гибкость его жизненных отправлений также возрастают.

– Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством? Ведь она знает и переливание крови уж несколько сот лет, если не ошибаюсь.

– Не знаю, может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения. А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма, которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезней, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемое в вашей медицине – теперь очень редко – переливание крови имеет какой-то филантропический характер: тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это; но постоянно применяется другое – то, что соответствует всему нашему строю: товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании...

VI. Работа и призраки

Впечатления первых дней, бурным потоком нахлынувшие на мое сознание, дали мне понятие о громадных размерах той работы, которая мне предстояла. Надо было прежде всего постигнуть этот мир, неизмеримо богатый и своеобразный в своей жизненной стройности. Надо было затем войти в него не в качестве интересного музейного экземпляра, а в качестве человека среди людей, работника среди работников. Только тогда могла быть выполнена моя миссия, только тогда я мог послужить началом действительной взаимной связи двух миров, между которыми я, социалист, находился на границе как бесконечно малый момент настоящего между прошлым и будущим.

Когда я уезжал из лечебницы, Нэтти сказал мне: «Не очень спешите!» Мне казалось, что он не прав. Надо было именно спешить,

надо было пустить в ход все свои силы, всю свою энергию, потому что ответственность была страшно велика! Какую колоссальную пользу нашему старому, измученному человечеству, какое гигантское ускорение его развития, его расцвета должно было принести живое, энергичное влияние высшей культуры, могучей и гармоничной! И каждый момент замедления в моей работе мог отдалять это влияние... Нет, ждать, отдыхать было некогда.

И я очень много работал. Я знакомился с наукой и техникой нового мира, я напряженно наблюдал его общественную жизнь, я изучал его литературу. Да, тут было много трудного.

Их научные методы ставили меня в тупик: я механически усваивал их, убеждался на опыте, что применение их легко, просто и непогрешимо, а между тем я не понимал их, не понимал, почему они ведут к цели, где их связь с живыми явлениями, в чем их сущность. Я был точно те старые математики XVII века, неподвижная мысль которых органически не могла усваивать живой динамики бесконечно малых величин.

Общественные собрания марсиан поражали меня своим напряженно-деловым характером. Были ли они посвящены вопросам науки, или вопросам организации работ, или даже вопросам искусства, – доклады и речи были страшно сжаты и кратки, аргументация определена и точна, никто никогда не повторялся и не повторял других. Решения собраний, чаще всего единогласные, выполнялись со сказочной быстротой. Решало собрание ученых одной специальности, что надо организовать такое-то научное учреждение; собрание статистиков труда, что надо устроить такое-то предприятие; собрание жителей города, что надо украсить его таким-то зданием, – немедленно появлялись новые цифры необходимого труда, публикуемые центральным бюро, приезжали по воздуху сотни и тысячи новых работников, и через несколько дней или недель все было уже сделано, а новые работники исчезали неизвестно куда. Все это производило на меня впечатление как будто своеобразной магии, странной магии, спокойной и холодной, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочной в своем сверхчеловеческом могуществе.

Литература нового мира, даже чисто художественная, не была также для меня ни отдыхом, ни успокоением. Ее образы были как

будто несложны и ясны, но как-то внутренне чужды для меня. Мне хотелось глубже в них проникнуть, сделать их близкими и понятными, но мои усилия приводили к совершенно неожиданному результату: образы становились призрачными и одевались туманом.

Когда я шел в театр, то и здесь меня преследовало все то же чувство непонятного. Сюжеты были просты, игра превосходна, а жизнь оставалась далекой. Речи героев были так сдержанны и мягки, поведение так спокойно и осторожно, их чувства подчеркивались так мало, как будто они не хотели навязывать зрителю никаких настроений, как будто они были сплошные философы да еще, как мне казалось, сильно идеализированные. Только исторические пьесы из далекого прошлого давали мне сколько-нибудь знакомые впечатления, а игра актеров там была настолько же энергична и выражения личных чувств настолько же откровенны, как я привык видеть в наших театрах.

Было одно обстоятельство, которое, несмотря на все, привлекало меня в театр нашего маленького городка с особенной силой. Это именно то, что в нем вовсе не было актеров. Пьесы, которые я там видел, либо передавались оптическими и акустическими передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже – и это чаще всего – были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли. Марсиане, зная способы моментального фотографирования в естественных цветах, применяли их для того, чтобы фотографировать жизнь в движении, как это делается для наших кинематографов. Но они не только соединяли кинематограф с фотографом, как это начинают делать у нас на Земле, – пока еще весьма неудачно, – но они пользовались идеей стереоскопа и превращали изображения кинематографа в рельефные. На экране давалось одновременно два изображения – две половины стереограммы, а перед каждым креслом зрительной залы был прикреплен соответствующий стереоскопический бинокль, который сливал два плоских изображения в одно, но всех трех измерений. Было странно видеть ясно и отчетливо живых людей, которые движутся, действуют, выражают свои мысли и чувства, и сознавать в то же время, что там ничего нет, а есть матовая пластинка и за нею – фонограф и электрический фонарь с часовым механизмом.

Это было почти мистически странно и порождало смутное сомнение во всей действительности.

Все это, однако, не облегчало мне выполнения моей задачи – понять чужой мир. Мне, конечно, нужна была помощь со стороны. Но я все реже обращался к Мэнни за указаниями и объяснениями. Мне было неловко обнаруживать свои затруднения во всем их объеме. К тому же внимание Мэнни в это время было страшно занято одним важным исследованием из области добывания «минус-материи». Он работал неутомимо, часто не спал целые ночи, и мне не хотелось мешать ему и отвлекать его; а его увлечение работой было как будто живым примером, который невольно побуждал меня идти дальше в своих усилиях.

Остальные друзья между тем временно исчезли с моего горизонта. Нэтти уехал за несколько тысяч километров руководить устройством и организацией новой гигантской лечебницы в другом полушарии планеты. Энно был занят как помощник Стэрни в его обсерватории измерениями и вычислениями, необходимыми для новых экспедиций на Землю и Венеру, а также для экспедиций на Луну и Меркурий с целью их лучше сфотографировать и привезти образчики их минералов. С другими марсианами я близко не сходил, а ограничивался необходимыми расспросами и деловыми разговорами: трудно и странно было сближаться с чуждыми мне и высшими, чем я, существами.

С течением времени мне стало казаться, что работа моя идет, в сущности, недурно. Я все меньше нуждался в отдыхе и даже в сне. То, что я изучал, как-то механически легло и свободно стало укладываться в моей голове, и при этом ощущение было таково, словно голова совершенно пуста и в ней можно поместить еще очень, очень много. Правда, когда я пытался по старой привычке отчетливо формулировать для себя то, что узнавал, это мне большей частью не удавалось; но я находил, что это неважно, что мне не хватает только выражений да каких-нибудь частных и мелочей, а общее понятие у меня имеется, и это главное.

Никакого живого удовольствия мне мои занятия уже не доставляли; ничто не вызывало во мне прежнего непосредственного интереса. «Что же, это вполне понятно, – думал я, – после всего, что я

видел и узнал, меня трудно чем-нибудь еще удивить; дело не в том, чтобы это мне было приятно, а в том, чтобы овладеть всем, чем надо».

Только одно было непонятно: все труднее становилось сосредоточивать внимание на одном предмете. Мысли отвлекались то и дело то в одну, то в другую сторону; яркие воспоминания, часто очень неожиданные и далекие, всплывали в сознании и заставляли забывать окружающее, отнимая драгоценные минуты. Я замечал это, спохватывался и с новой энергией принимался за работу; но проходило короткое время, и снова летучие образы прошлого или фантазии овладевали моим мозгом, и снова приходилось подавлять их резким усилием.

Все чаще меня тревожило какое-то странное, беспокойное чувство, точно было что-то важное и спешное, чего я не исполнил и о чем все забываю и стараюсь вспомнить. Вслед за этим чувством поднимался целый рой знакомых лиц и минувших событий и неудержимым потоком уносил меня все дальше назад, через юность и отрочество к самому раннему детству, теряясь затем в каких-то смутных и неясных ощущениях. После этого моя рассеянность становилась особенно сильной и упорной.

Подчиняясь внутреннему сопротивлению, которое не давало мне долго сосредоточиться на чем-нибудь одном, я начинал все чаще и быстрее переходить от предмета к предмету и для этого нарочно собирал в своей комнате целые груды книг, раскрытых заранее на нужном месте, таблиц, карт, стенограмм, фонограмм и т. д. Таким путем я надеялся устранить потерю времени, но рассеянность все незаметнее подкрадывалась ко мне, и я ловил себя на том, что уже долго смотрю в одну точку, ничего не понимая и ничего не делая.

Зато когда я ложился в постель и смотрел сквозь стеклянную крышу на темное небо, тогда мысль начинала самовольно работать с удивительной живостью и энергией. Целые страницы цифр и формул выступали перед моим внутренним зрением с такой ясностью, что я мог перечитывать их строчка за строчкой. Но эти образы скоро уходили, уступая место другим; и тогда мое сознание превращалось в какую-то панораму удивительно ярких и отчетливых картин, не имевших уже ничего общего с моими занятиями и заботами: земные ландшафты, театральные сцены, картины детских сказок спокойно, точно в зеркале, отражались в моей душе и исчезали и сменялись, не

вызывая никакого волнения, а только легкое чувство интереса или любопытства, не лишенное очень слабого приятного оттенка. Эти отражения сначала проходили внутри моего сознания, не смешиваясь с окружающей обстановкой, потом они ее вытесняли, и я погружался в сон, полный живых и сложных сновидений, очень легко прерывавшийся и не дававший мне главного, к чему я стремился, – чувства отдыха.

Шум в ушах уже довольно давно меня беспокоил, а теперь он становился все постояннее и сильнее, так что иногда мешал мне слушать фонограммы, а по ночам уносил остатки сна. Время от времени из него выделялись человеческие голоса, знакомые и незнакомые; часто мне казалось, что меня окликают по имени, часто казалось, что я слышу разговор, слов которого из-за шума не могу разобрать. Я стал понимать, что уже не совсем здоров, тем более что рассеянность окончательно овладела мною и я не мог даже читать больше нескольких строчек под ряд.

«Это, конечно, просто переутомление, – думал я. – Мне надо только больше отдыхать; я, пожалуй, слишком много работал. Но не надо, чтобы Мэнни заметил, что со мной происходит: это слишком похоже на банкротство с первых же шагов моего дела».

И когда Мэнни заходил ко мне в комнату – это бывало тогда, правда, не часто, – я притворялся, что усердно занимаюсь. А он замечал мне, что я работаю слишком много и рискую переутомиться.

– Особенно сегодня у вас нездоровый вид, – говорил он. – Посмотрите в зеркало, как блестят ваши глаза и как вы бледны. Вам надо отдохнуть, вы этим выиграете в дальнейшем.

И я сам очень хотел бы этого, но мне не удавалось. Правда, я почти ничего не делал, но меня утомляло уже всякое, самое маленькое усилие; а бурный поток живых образов, воспоминаний и фантазий не прекращался ни днем, ни ночью. Окружающее как-то бледнело и терялось за ними и приобретало призрачный оттенок.

Наконец, я должен был сдаться. Я видел, что вялость и апатия все сильнее овладевают моей волей и я все меньше могу бороться со своим состоянием. Раз утром, когда я встал с постели, у меня все сразу потемнело в глазах. Но это быстро прошло, и я подошел к окну, чтобы посмотреть на деревья парка. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся – передо мной стояла Анна Николаевна. Лицо

ее было бледно и грустно, взгляд полон упрека. Меня это огорчило, и я, совершенно не думая о странности ее появления, сделал шаг по направлению к ней и хотел сказать что-то. Но она исчезла, как будто растаяла в воздухе.

С этого момента началась оргия призраков. Многого я, конечно, не помню, и, кажется, сознание часто спутывалось у меня наяву, как во сне. Приходили и уходили или просто появлялись и исчезали самые различные люди, с какими я встречался в своей жизни, и даже совершенно незнакомые мне. Но между ними не было марсиан, это были все земные люди, большей частью те, которых я давно не видал, – старые школьные товарищи, молодой брат, который умер еще в детстве. Как-то раз через окно я увидел на скамейке знакомого шпиона, который со злобной насмешкой смотрел на меня своими хищными, бегаящими глазами. Призраки не разговаривали со мной, а ночью, когда было тихо, слуховые галлюцинации продолжались и усиливались, превращаясь в целые связные, но нелепо-бессодержательные разговоры большей частью между неизвестными мне лицами: то пассажир торговался с извозчиком, то приказчик уговаривал покупателя взять у него материю, то шумела университетская аудитория, а субинспектор убеждал успокоиться, потому что сейчас придет господин профессор. Зрительные галлюцинации были по крайней мере интересны, да и мешали мне гораздо меньше и реже.

После появления Анны Николаевны я, разумеется, сказал все Мэнни. Он тотчас уложил меня в постель, позвал ближайшего врача и телефонирует Нэтти за шесть тысяч километров. Врач сказал, что он не решаетесь что-нибудь предпринять, потому что недостаточно знает организацию земного человека, но что, во всяком случае, главное для меня – спокойствие и отдых, и тогда неопасно подождать несколько дней, пока приедет Нэтти.

Нэтти явился на третий день, передав все свое дело другому. Увидав, в каком я состоянии, с грустным упреком взглянул на Мэнни.

VII. Нэтти

Несмотря на лечение такого врача, как Нэтти, болезнь продолжалась еще несколько недель. Я лежал в постели, спокойный и апатичный, одинаково равнодушно наблюдая действительность и призраки; даже постоянное присутствие Нэтти доставляло мне лишь очень слабое, едва заметное удовольствие.

Мне странно вспоминать о своем тогдашнем отношении к галлюцинациям: хотя десятки раз мне приходилось убеждаться в их нереальности, но каждый раз, как они появлялись, я как будто забывал все это; даже если мое сознание не затемнялось и не спутывалось, я принимал их за действительные лица и вещи. Понимание их призрачности выступало только после их исчезновения или перед самым исчезновением.

Главные усилия Нэтти в его лечении были направлены на то, чтобы заставить меня спать и отдыхать. Никаких лекарств для этого, однако, и он применять не решался, боясь, что все они могут оказаться ядами для земного организма. Несколько дней ему не удавалось усыпить меня его обычными способами: галлюцинаторные образы врываются в процесс внушения и разрушали его действие. Наконец ему удалось это, и, когда я проснулся после двух-трех часов сна, он сказал:

– Теперь ваше выздоровление несомненно, хотя болезнь еще довольно долго будет идти своим путем.

И она в самом деле шла своим путем. Галлюцинации становились реже, но они не были менее живыми и яркими, они даже стали несколько сложнее, – иногда призрачные гости вступали в разговор со мною.

Но из этих разговоров только один имел смысл и значение для меня. Это было в конце болезни.

Проснувшись утром, я увидел около себя по обыкновению Нэтти, а за его креслом стоял мой старший товарищ по революции, пожилой человек и очень злой насмешник, агитатор Ибрагим. Он как будто ожидал чего-то. Когда Нэтти вышел в другую комнату приготовить ванну, Ибрагим грубо и решительно сказал мне:

– Ты дурак! Чего ты зеваешь? Разве ты не видишь, кто твой доктор?

Я как-то мало удивился намеку, заключающемуся в этих словах, а их циничный тон не возмутил меня – он был мне знаком и очень

обычен для Ибрагима. Но я вспомнил железное пожатие маленькой руки Нэтти и не поверил Ибрагиму.

– Тем хуже для тебя! – сказал он с презрительной усмешкой и в ту же минуту исчез.

В комнату вошел Нэтти. При виде его я почувствовал странную неловкость. Он пристально посмотрел на меня.

– Это хорошо, – сказал он. – Ваше выздоровление идет быстро.

Весь день после этого он был как-то особенно молчалив и задумчив. На другой день, убедившись, что я чувствую себя хорошо и галлюцинации не повторяются, он уехал по своим делам до самой ночи, заменив себя другим врачом. После этого в течение целого ряда дней он являлся лишь по вечерам, чтобы усыпить меня на ночь. Тогда только мне стало ясно, насколько для меня важно и приятно его присутствие. Вместе с волнами здоровья, которые как будто вливались в мой организм из всей окружающей природы, стали все чаще приходиться размышления о намеке Ибрагима. Я колебался и всячески убеждал себя, что это нелепость, порожденная болезнью: из-за чего бы Нэтти и прочим друзьям обманывать меня относительно этого? Тем не менее смутное сомнение оставалось, и оно мне было приятно.

Иногда я допрашивал Нэтти, какими делами он сейчас занят. Он объяснял мне, что идет ряд собраний, связанных с устройством новых экспедиций на другие планеты, и он там нужен как эксперт. Мэнни руководил этими собраниями; но ни Нэтти, ни он не собирались скоро ехать, что меня очень радовало.

– А вы сами не думаете ехать домой? – спросил меня Нэтти, и в его тоне я подметил беспокойство.

– Но ведь я еще ничего не успел сделать, – отвечал я.

Лицо Нэтти просияло.

– Вы ошибаетесь, вы сделали многое... даже и этим ответом, – сказал он.

Я чувствовал в этом намек на что-то такое, чего я не знаю, но что касается меня.

– А не могу ли я отправиться с вами на одно из этих совещаний? – спросил я.

– Ни в каком случае – решительно заявил Нэтти. – Кроме безусловного отдыха, который вам нужен, вам надо еще целые месяцы избегать всего, что имеет тесную связь с началом вашей болезни.

Я не спорил. Мне было так приятно отдыхать; а мой долг перед человечеством ушел куда-то далеко. Меня беспокоили только, и все сильнее, странные мысли о Нэтти.

Раз вечером я стоял у окна и смотрел на темневшую внизу таинственную красную «зелень» парка, и она казалась мне прекрасной, и не было в ней ничего чуждого моему сердцу. Раздался легкий стук в дверь: я сразу почувствовал, что это Нэтти. Он вошел своей быстрой, легкой походкой и, улыбаясь, протянул мне руку – старое, земное приветствие, которое нравилось ему. Я радостно сжал его руки с такой энергией, что и его сильным пальцам пришлось плохо.

– Ну, я вижу, моя роль врача окончена, – смеясь, сказал он. – Тем не менее я должен еще вас порасспросить, чтобы твердо установить это.

Он расспрашивал меня, я бестолково отвечал ему в непонятном смущении и читал скрытый смех в глубине его больших-больших глаз. Наконец я не выдержал:

– Объясните мне, откуда у меня такое сильное влечение к вам? Почему я так необыкновенно рад вас видеть?

– Всего скорее, я думаю, оттого, что я лечил вас, и вы бессознательно переносите на меня радость выздоровления. А может быть... и еще одно... это, что я... женщина...

Молния блеснула перед моими глазами, и все потемнело вокруг, и сердце словно перестало биться... Через секунду я как безумный сжимал Нэтти в своих объятиях и целовал ее руки, ее лицо, ее большие, глубокие глаза, зеленовато-синие, как небо ее планеты...

Великодушно и просто Нэтти уступала моим необузданным порывам... Когда я очнулся от своего радостного безумия и вновь целовал ее руки с невольными слезами благодарности на глазах, – то была, конечно, слабость от перенесенной болезни, – Нэтти сказала со своей милой улыбкой:

– Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья – все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству... Но... я люблю вас, Лэнни...

Это было счастье.

Часть III

I. Счастье

Эти месяцы... Когда я их вспоминаю, трепет охватывает мое тело, и туман застилает мои глаза, и все вокруг кажется ничтожным. И нет слов, чтобы выразить минувшее счастье.

Новый мир стал мне близок и, казалось, вполне понятен. Прошлые поражения не смущали меня, юность и вера возвратились ко мне и, я думал, никогда не уйдут больше. У меня был надежный и сильный союзник, слабости не было места, будущее принадлежало мне.

К прошлому мысль моя возвращалась редко, а больше всего к тому, что касалось Нэтти и нашей любви.

– Зачем вы скрывали от меня свой пол? – спросил я ее вскоре после того вечера.

– Сначала это произошло само собой, случайно. Но потом я поддерживала ваше заблуждение вполне сознательно и даже умышленно изменила в своем костюме все то, что могло навести вас на истину. Меня напугала трудность и сложность вашей задачи, я боялась усложнить ее еще больше, особенно когда заметила ваше бессознательное влечение ко мне. Я и сама не вполне понимала себя... до вашей болезни.

– Значит, это она решила дело... Как я благодарен моим милым галлюцинациям!

– Да, когда я слышала о вашей болезни, это было как громовой удар. Если бы мне не удалось вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла.

После нескольких секунд молчания она прибавила:

– А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого не подозревали, и она также очень любит вас... конечно, не так, как я...

– Энно! – сейчас же догадался я.

– Ну конечно. И она также обманывала вас нарочно по моему совету.

– Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире! – воскликнул я с шутливым пафосом. – Только, пожалуйста, пусть Мэнни останется мужчиной, потому что, если бы мне случилось полюбить его, это было бы ужасно.

– Да, это страшно, – задумчиво подтвердила Нэтти, и я не понял ее странной серьезности.

Дни проходили за днями, и я радостно овладевал прекрасным новым миром.

II. Разлука

И все-таки этот день наступил, день, о котором я не могу вспомнить без проклятья, день, когда между мной и Нэтти встала черная тень ненавистной и неизбежной... разлуки.

Со спокойным и ясным, как всегда, выражением лица Нэтти сказала мне, что она должна отправиться на днях вместе с гигантской экспедицией, снаряжаемой на Венеру под руководством Мэнни. Видя, как я ошеломлен этим известием, она прибавила:

– Это будет недолго; в случае успеха, в котором я не сомневаюсь, часть экспедиции вернется очень скоро, и я в том числе.

Затем она стала объяснять мне, в чем дело. На Марсе запасы радиоматерии, необходимой как двигатель междупланетного сообщения и как орудие разложения и синтеза всех элементов, приходили к концу: она только тратилась, и не было средств для ее возобновления. На Венере, молодой планете, которая существовала почти вчетверо меньше, чем Марс, было по несомненным признакам установлено присутствие у самой поверхности колоссальных залежей радирующих веществ, не успевших самостоятельно разложиться. На одном острове, расположенном среди главного океана Венеры и носившем у марсиан имя «Острова горячих бурь», находилась самая богатая руда радиоматерии; и там решено было начать немедленно ее разработку. Но прежде всего для этого было необходимо постройкой очень высоких и прочных стен оградить работающих от губительного действия влажного горячего ветра, который своей жестокостью далеко

превосходит бури наших песчаных пустынь. Поэтому и потребовалась экспедиция из десяти этеронефов и полутора-двух тысяч человек, из них всего одна двадцатая для химических, а почти все остальные для строительных работ. Были привлечены лучшие научные силы, в том числе и наиболее опытные врачи: опасности здоровью угрожали и со стороны климата и со стороны убийственных лучей и эманации радирующего вещества. Нэтти, по ее словам, не могла уклониться от участия в экспедиции; но предполагалось, что если работы пойдут хорошо, то уже через три месяца один этеронеф отправится обратно с известиями и с запасом добытого вещества. С этим этеронефом должна была вернуться и Нэтти, значит, через 10–11 месяцев после отъезда.

Я не мог понять, почему Нэтти необходимо ехать. Она говорила мне, что предприятие слишком серьезное, чтобы от него можно было отказаться; что оно имеет большое значение и для моей задачи, так как его успех впервые даст возможность частых и широких сношений с Землею; что всякая ошибка в постановке медицинской помощи с самого начала может привести к крушению всего дела. Все это было убедительно, – я уже узнал, что Нэтти считается лучшим врачом для всех тех случаев, которые выходят из рамок старого медицинского опыта, – и все-таки мне казалось, что это не все. Я чувствовал, что тут есть что-то недоговоренное.

В одном я не сомневался – в самой Нэтти и в ее любви. Если она говорила, что ехать необходимо, значит, это было необходимо; если она не говорила почему, значит, мне не следовало ее допрашивать. Я видел страх и боль в ее прекрасных глазах, когда она думала, что я не смотрю на нее.

– Энно будет для тебя хорошим и милым другом, – сказала она с грустной улыбкой, – и Нэллу ты не забывай, она любит тебя за меня, у нее много опыта и ума, ее поддержка в трудные минуты драгоценна. А обо мне думай только одно: что я вернусь как можно скорее.

– Я верю в тебя, Нэтти, – сказал я, – и потому верю в себя, в человека, которого ты полюбила.

– Ты прав, Лэнни. И я убеждена, что из-под всякого гнета судьбы, из всякого крушения ты выйдешь верным себе, сильнее и чище, чем прежде.

Будущее бросало свою тень на наши прощальные ласки, и они смешались со слезами Нэтти.

III. Фабрика одежды

За те короткие месяцы я успел с помощью Нэтти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана – стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о Земле и ее людях: было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое и без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевать. Я решил поступить просто на фабрику и выбрал на первый раз, после обстоятельного сравнения и обсуждения, фабрику одежды.

Я выбрал, конечно, почти самое легкое. Но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа, пришлось изучить выработанные наукою принципы устройства фабрик вообще, ознакомиться специально с устройством той фабрики, где мне предстояло работать, с ее архитектурой, с ее организацией труда, я специально должен был иметь дело, – конечно, во всех применяемых на ней машинах, а той машины, с которой я специально должен был иметь дело, – конечно во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей и прикладной механики и технологии и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководства не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавшийся под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему: трудные для большинства начинающих идеи «предела» и «производной» достались мне как-то незаметно, точно я всегда был знаком с ними. Но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе-ученике французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на

объяснения. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами: «откуда, принимая во внимание предыдущие уравнения, мы выводим...». Так было со мной и теперь, только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги; иллюзия, которая владела мной в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нэтти постоянно была со мною и сглаживала трудный путь.

Вскоре после отъезда Нэтти я решился и вступил на фабрику. Это было гигантское и очень сложное предприятие, совершенно не подходящее к нашему обычному представлению о фабрике одежды. Там совмещалось пряденье, тканье, кройка, шитье, окраска одежды, а материалом работы служил не лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное.

В прежние времена марсиане приготавливали ткани для одежды приблизительно таким же способом, как это делается у нас: культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных и сдирали с них кожу, разводили особые породы пауков, из паутины которых получалось вещество, подобное шелку, и т. д. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Когда это удалось им, то за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция, и теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях.

Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся «материал» для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устранивающих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая

жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прозрачные паутиновые волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую «пряжу» в следующее ткацкое отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя, приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество, очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными, лучше, чем это могло быть сделано каким бы то ни было швом. Одновременно с этим впаивались везде, где требовалось, и застежки, так что получались готовые части костюма – несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру.

На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например, вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки по новым чертежам и «шили» специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени.

Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими, в каких готовится самая материя. Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался налицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических

приемов он приобретает желательную окраску, идеально-ровную и идеально-прочную.

Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно такими же способами приготавливается обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног.

Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи с наименьшей потерей материала выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная; потому что даже минимальная ошибка, повторенная много миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось «не хуже» других.

Работать «не хуже» других – к этому я стремился всеми силами и в общем не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4–6 (по земному счету) часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать...

Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает культуры внимания. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга: очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней.

Когда – обыкновенно к концу моей дневной работы – в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы, тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дело.

Меня не только удивляла, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызывала во мне досаду и раздражение; у меня являлось такое чувство, как будто все они постоянно следят за моими действиями... Это беспокойное настроение увеличивало еще более мою рассеянность и портило мою работу.

Теперь, спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью и совершенно таким же образом – может быть, только менее часто – мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам – человек индивидуалистического мира – невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить.

IV. Энно

Миновала и долгая осень; зима, малоснежная, но холодная, воцарилась в нашей области – в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод заползал в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным.

Я отправился к Энно, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого и родного человека, – точно яркий луч недалекого прошлого прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то; была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собою, и несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нэтти.

Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно.

– Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедem со мною, – сказал я.

Энно сразу согласилась, взяла с собой работу – она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений, – и мы поехали в химический городок, где я жил один в квартире Мэнни. По утрам я каждый день путешествовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, то есть в получасе пути отсюда, а долгие зимние вечера мы с Энно стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах и иногда прогулках по окрестностям.

Энно рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нэтти за советом. Нэтти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого и мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала; и это было непоправимо.

Приговор Нэтти был страшным ударом для Энно, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным.

Но это было не все; исследование привело Нэтти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Мэнни, для полноты развития его гениальных способностей было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энно не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо, новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись особенно успешно, и, по-видимому, он нисколько не чувствовал лишения. Тогда Энно, для которой ее любовь была дороже жизни, но

гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала.

Она разошлась с Мэнни; это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, может быть, даже неизвестной: Энно и Нэтти сохраняли ее в тайне; хотя, конечно, нельзя было знать наверняка, не угадал ли проницательный ум Мэнни скрытую подкладку событий. А для Энно жизнь оказалась настолько опустошенной, подавленное чувство создавало такие страдания, что спустя короткое время молодая женщина решила умереть.

Чтобы помешать самоубийству, Нэтти, к содействию которой обратилась Энно, под разными предлогами затянула на день его выполнение, а сама известила Мэнни. Тот в это время организовывал экспедицию на Землю и тотчас послал Энно приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно. Энно приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевной болью; и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собою настолько, что могла принять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал на этеронефе.

В новую экспедицию Энно не поехала потому, что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее, пока она оставалась в одиночестве: она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке вселенной: туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра, самые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титанически смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мысли настроения. Энно была для меня более чем сестрою.

Как-то само собою, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно-кроткая и добрая Энно не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей... Был оттенок мягкой грусти в ее ласках – ласках нежной дружбы, которая все позволяет...

А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные, бледные крылья – долгая марсианская зима без оттепелей, бурь и

метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце и полная жизни природа развешивала свою яркую одежду. Энно не хотелось той природы, слишком мало гармонизировавшей с ее настроением; я же избегал новых людей и новой обстановки, потому что знакомиться и привыкать к ним требовало нового, лишнего труда и утомления, а я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно-странной была наша дружба – любовь в царстве зимы, заботы, ожидания...

В. У Нэллы

Энно еще в ранней юности была самой близкой подругой Нэтти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен Нэтти и Стэрни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энно сначала задумалась и как будто даже смутилась и затем ответила:

– Нэтти была раньше женой Стэрни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить. Я сделала, очевидно, ошибку, и дальше вы меня не спрашивайте об этом.

Я был как-то странно потрясен тем, что услышал... Как будто не было ничего нового... Я никогда не предполагал, что я первый муж Нэтти. Было бы нелепостью думать, что женщина, полная жизни и здоровья, красивая телом и душой, дитя свободной высококультурной расы, могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно-ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом, я чувствовал только одно, что мне надо знать все, знать точно и ясно. Но допрашивать Энно, очевидно, было невозможно. Я вспомнил о Нэлле.

Нэтти, уезжая, говорила: «Не забывай о Нэлле, иди к ней в трудную минуту!» И я не раз уже думал о том, как бы повидаться с ней; но мешала отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали. Но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в «доме детей», в Большом городе машин.

Нэлла тотчас бросила работу, которой была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату,

где дети не могли мешать нам.

Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке; а затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нэлла много и с увлечением рассказывала мне о Нэтти, об ее детстве и юности.

Первые годы своей жизни Нэтти провела при матери, как в большинстве случаев и бывает у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нэтти в «дом детей», чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нэлла не могла уже с нею расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности: она занималась главным образом психологией.

Нэтти была живым, энергичным, порывистым ребенком, с большой жадой знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекал ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее невидимые люди были любимой мечтой Нэтти, любимым сюжетом ее разговоров с другими детьми и с воспитателями.

Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Мэнни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Мэнни она запомнила от слова до слова и поэтому замучила Нэllu и воспитателей требованиями объяснять ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Мэнни заочно и написала ему восторженное письмо; в этом письме она, между прочим, умоляла его привезти с Земли ребенка, которого некому воспитывать; она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увешала всю свою комнату земными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появились в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встреченному ими земному человеку: они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земными языками; и в то же время она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу, а не привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь поехать

на Землю и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж за земного человека, подумавши, заявила: «Очень может быть!»

Всего этого сама Нэтти никогда не рассказывала мне; в своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого. И конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать этого лучше Нэллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Нэллы! Минутами я совсем забывался и как живую видел перед собою чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому, далекому миру... Но это быстро проходило: возвращалось сознание окружающего и воспоминание о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе.

Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нэтти, я решился спросить с возможно спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нэтти и Стэрни. Нэлла задумалась на минуту.

– А, вот что! – сказала она. – Так вы явились ко мне из-за этого... Почему же вы не сказали мне этого прямо?

Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал.

– Разумеется, я могу рассказать вам это, – продолжала она. – Это очень несложная история. Стэрни был один из учителей Нэтти, он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю – то была, кажется, вторая экспедиция Мэнни, – он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нэтти была его постоянной слушательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным вопросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоположных натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянно и во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Вот и все.

– Скажите, когда совершился этот разрыв?

– Окончательно – после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нэтти и Летта было началом этого разрыва. Нэтти становилось не по себе от аналитически-холодного ума Стэрни; он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему

этому иначе. А у старого Летта было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Нэтти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо: он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стэрни. Он, как и она, любил Землю мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собою великий расцвет и великую поэзию жизни. И когда она узнала, что человек с таким сокровищем чувства в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь.

– Одну минуту, – перебил я. – Правильно ли я вас понял? Вы говорите, что она была женой Летта?

– Да, – отвечала Нэлла.

– Но вы кажется сказали, что окончательный разрыв со Стэрни произошел после смерти Летта?

– Да. Вам это непонятно?

– Нет, я понимаю вас. Я только не знал этого.

В эту минуту нас прервали. С кем-то из детей случился нервный припадок, и Нэллу экстренно вызвали к нему. На несколько минут я остался один. Голова у меня слегка кружилась, я чувствовал себя так странно, что никакими словами нельзя было описать моего состояния. В чем дело? Не было ничего особенного. Нэтти была свободным человеком и вела себя как свободный человек. Летта был ее мужем? Я всегда уважал его и чувствовал бы к нему горячую симпатию, даже если бы он не пожертвовал за меня своей жизнью. Нэтти была женою двух своих товарищей одновременно? Но я всегда считал, что единобрачие в нашей среде вытекает только из наших экономических условий, ограничивающих и опутывающих человека на каждом шагу; здесь же этих условий не было, а были иные, не создающие никаких стеснений для личного чувства и личных связей. Откуда же мое тревожное недоумение и непонятная боль, от которой мне хочется не то вскрикнуть не то засмеяться? Или я не умею чувствовать так, как думаю? Кажется да. А мои отношения с Энно? Где же моя логика? И что же такое я сам? Какое нелепое состояние!

Ах, да, еще вот что... Почему Нэтти не говорила мне всего этого? И сколько еще тайн и обманов вокруг меня? И сколько их ожидать в

будущем? Опять неправда! Тайна – да, это верно. Но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна не обман?..

Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась и в комнату опять вошла Нэлла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне было тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости.

– Конечно, – сказала она, – нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной связи. Вы преодолели уже много препятствий, справитесь и с этим. Нэтти в вас верит, и я думаю, что она права. А разве ваша вера в нее поколебалась?

– Отчего она скрывала все это от меня? Где тут ее вера? Я не могу ее понять.

– Почему она так поступила, я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами.

Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нэтти. Вот что я там прочитал.

«Мой Лэнни! Я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях, но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя что бы то ни было из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу; я не сомневаюсь, что, как бы ни были чужды и непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты в конце концов всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их.

Но я боялась одного... После болезни ты быстро накапливал силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и при всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил ко мне, как женщине, то нехорошее, возникшее из насилия и

рабства отношение, которое господствует в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто даже жесток к самому себе, – ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного мира, и одна секунда дурного, болезненного порыва навсегда осталась бы для тебя темным пятном на нашей любви.

Мой Лэнни, я хочу и могу тебя успокоить. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет других личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе, перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена, я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы.

До свиданья, мое дорогое, любимое дитя.
Твоя Нэтти».

Когда я дочитал письмо, Нэлла вопросительно посмотрела на меня.

– Вы были правы, – сказал я и поцеловал ее руку.

VI. В поисках

От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих и на фабрике и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок полупрезрительной снисходительности, в их осторожной сдержанности – скрытое

отвращение к низшему существу. Точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении.

Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нэтти. Больше, чем прежде, я был убежден, что для участия Нэтти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нэтти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, было новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мелей и подводных камней океана чуждой мне жизни, лучше и яснее меня самого понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что оно имело ко мне какое-то серьезное отношение; и надо было выяснить это что-то во что бы то ни стало.

Я решил добраться до истины путем систематического исследования. Припоминая некоторые случайные и невольные намеки Нэтти, беспокойное выражение, которое я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нэтти решилась на эту разлуку не тогда, когда об этом мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и причины надо искать около этого времени. Но где их искать?

Они могли быть связаны либо с личными делами Нэтти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нэтти представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции.

Само собой разумеется, что экспедиция была решена «колониальной группой» – так называлось собрание работников, активно участвующих в организации междупланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой «колониальной группы» был как раз во время моей

болезни. Мэнни и Нэтти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал и мне было скучно без Нэтти, то я хотел быть тоже на этом съезде, но Нэтти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли «опасность» от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочесть все, что могло относиться к данному вопросу.

Но тут встретились затруднения. В колониальной библиотеке мне дали только собрание решений съезда. В решениях была превосходно намечена, почти до мелочей, вся организация грандиозного предприятия на Венере, но не было ничего такого, что специально меня теперь интересовало. Это никоим образом для меня не исчерпывало вопроса. Решения при всей их обстоятельности были изложены без всякой мотивировки, без всяких указаний на все обсуждение, которое им предшествовало. Когда я сказал библиотекарю, что мне нужны самые протоколы, он мне объяснил, что протоколы не опубликованы и что подобных протоколов вообще не велось, как обыкновенно и делается при технически-деловых собраниях.

На первый взгляд это казалось правдоподобным. Марсиане действительно чаще всего публикуют только решения своих технических съездов, находя, что всякое разумное и полезное мнение, высказанное там, либо найдет себе отражение в принятой резолюции, либо гораздо лучше и обстоятельнее, чем в короткой речи, будет выяснено автором в особой статье, брошюре, книге, если сам автор находит его важным. Марсиане вообще не любят чрезмерно размножать литературу, и ничего подобного нашим многотомным «трудам комиссий» у них найти нельзя: все сжимается до наименьшего возможного объема. Но в данном случае я не поверил библиотекарю. Слишком крупные и важные вещи решались на съезде, чтобы можно было так отнестись к их обсуждению, как к обычным дебатам по какому-нибудь обычному техническому вопросу.

Я, однако, постарался скрыть свое недоверие и, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, покорно углубился в изучение того, что мне дали, в действительности же тем временем обдумывал план дальнейших действий.

Было очевидно, что в книжной библиотеке я не получу того, что мне надо: протоколов либо в самом деле не было, либо

предупрежденный моим вопросом библиотекарь искусно спрячет их от меня. Оставалось другое – фонографическое отделение библиотеки.

Там протоколы могли найтись даже в том случае, если не были изданы в печати. Фонограф часто заменяет у марсиан стенографию, и в их архивах хранятся многие неизданные фонограммы различных общественных собраний.

Я выбрал момент, когда книжный библиотекарь был сильно поглощен работой, и незаметно для него прошел в фонографический отдел. Там я спросил у дежурного товарища большой каталог фонограмм. Он дал мне его.

По каталогу я быстро нашел номера фонограмм интересующего меня съезда и, делая вид, что не хочу беспокоить доставанием их дежурного товарища, отправился сам разыскивать их. Это мне также легко удалось.

Всех фонограмм было пятнадцать, по числу заседаний съезда. При каждой, как обыкновенно у марсиан делается, было приложено писаное оглавление. Я быстро пересмотрел их.

Первые пять заседаний оказались посвященными всецело докладам об экспедициях, устроенных после предыдущего съезда, и новых усовершенствованиях в технике этероневров.

В заголовке шестой фонограммы значилось:

«Предложение центральной статистики о переходе к массовой колонизации. Выбор планеты – Земля и Венера. Речи и предложения Стэрни, Нэтти, Мэнни и других. Предварительное решение в пользу Венеры».

Я почувствовал, что это то самое, что искал. Я вставил фонограмму в аппарат. То, что я услышал, навсегда врезалось мне в душу. Вот что там было.

Шестое заседание открыл Мэнни, председатель конгресса. Первым взял слово для доклада представитель центральной статистики.

Он посредством ряда точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессе его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией всей планеты, то через тридцать лет начнется недостаток в средствах питания. Помешать этому могло бы открытие технически легкого синтеза белков из неорганической материи, но никоим образом нельзя ручаться, что за тридцать лет

этого удастся достигнуть. Поэтому совершенно необходимо, чтобы колониальная группа от простых научных экскурсий на другие планеты перешла к делу организации настоящего массового переселения туда марсиан. Налицо имеется две доступные для марсиан планеты с громадными естественными богатствами. Надо немедленно же решить, какую из них сделать для начала центром колонизации, и затем приступить к выработке плана.

Мэнни спрашивает, есть ли желающие возразить по существу против предложения центральной статистики или против его мотивировки. Желающих не оказывается.

Тогда Мэнни ставит на обсуждение вопрос о том, какую планету выбрать в первую очередь в деле массовой колонизации.

Слово берет Стэрни.

VII. Стэрни

– Первый вопрос, поставленный нам представителем центральной статистики, – так начал Стэрни своим обычным, математически-деловым тоном, – вопрос о выборе планеты для колонизации, на мой взгляд, не нуждается в решении, потому что решен давно, решен самой действительностью. Выбирать не из чего. Из двух доступных нам теперь планет только одна вообще пригодна для массовой колонизации. Это Земля. О Венере существует большая литература, с которой все вы, конечно, знакомы. Вывод из всех собранных в ней данных возможен только один: овладеть Венерой мы теперь не можем. Ее жгучее солнце истомит и обессилит наших колонистов, ее страшные грозы и бури разрушат наши постройки, размечут в пространстве наши аэропланы и разобьют их об исполинские горы. С ее чудовищами мы могли бы еще справиться, хотя и ценою немалых жертв; но ее бактериальный мир, страшно богатый формами, известен нам лишь в ничтожной степени, – а сколько новых болезней для нас скрывает он в себе? Ее вулканические силы еще находятся в беспокойном брожении; сколько неожиданных землетрясений, извержений лавы, океанических наводнений они нам обещают. Разумные существа не должны предпринимать невозможного. Попытка колонизовать Венеру дала бы нам

бесчисленные, но и бесполезные жертвы, не жертвы науки и общего счастья, а жертвы безумия и мечты. Этот вопрос, мне кажется, ясен, и уже один доклад последней экспедиции на Венеру вряд ли в ком-нибудь мог оставить какие бы то ни было сомнения.

Таким образом, если дело идет вообще о массовом переселении, то, конечно, только о переселении на Землю. Тут препятствия со стороны природы ничтожны, ее богатства неисчислимы, – они в восемь раз превосходят то, что дает наша планета. Самое дело колонизации хорошо подготовлено уже существующей на Земле, хотя и невысокой культурой. Все это, разумеется, известно и центральной статистике. Если она предлагает нам вопрос о выборе, а мы находим нужным его обсуждать, то исключительно по той причине, что Земля представляет нам одно очень серьезное препятствие. Это ее человечество.

Люди Земли владеют ею, и ни в каком случае они ее добровольно не уступят, не уступят сколько-нибудь значительной доли ее поверхности. Это вытекает из всего характера их культуры. Ее основа есть собственность, огражденная организованным населением. Хотя даже самые цивилизованные племена Земли эксплуатируют на деле только ничтожную часть доступных им сил природы, но стремление к захвату новых территорий у них никогда не ослабевает. Систематическое ограбление земель и имущества менее культурных племен носит у них название колониальной политики и рассматривается как одна из главных задач их государственной жизни. Можно себе представить, как отнесутся они к естественному и разумному предложению с нашей стороны – уступить нам часть их материков, взамен чего мы научили бы их и помогли бы им несравненно лучше пользоваться остальной частью... Для них колонизация – это вопрос только грубой силы и насилия; и хотим мы или не хотим, они заставят нас принять по отношению к ним эту точку зрения.

Если бы при этом дело шло только о том, чтобы один раз доказать им перевес нашей силы, это было бы сравнительно просто и потребовало бы не больше жертв, чем любая из их обычных бессмысленных и бесполезных войн. Существующие у них большие стада дрессированных для убийства людей, называемых армиями, послужили бы самым подходящим материалом для такого

необходимого насилия. Любой из наших этеронифов мог бы посредством потока губительных лучей, возникающих при ускоренном разложении радия, уничтожить в несколько минут одно-два таких стада, и это было бы скорее полезно, чем вредно даже для их культуры. Но, к сожалению, дело не так просто, а главные трудности только начались бы с этого момента.

В вечной борьбе между племенами Земли у них сложилась психологическая особенность, называемая патриотизмом. Это неопределенное, но сильное и глубокое чувство включает в себе и злобное недоверие ко всем чуждым народам и расам, и стихийную привычку к своей общей жизненной обстановке, особенно к территории, с которой земные племена срастаются, как черепаха со своей оболочкой, и какое-то коллективное самомнение, и, часто кажется, простую жажду истребления, насилия, захватов. Патриотическое душевное состояние чрезвычайно усиливается и обостряется после военных поражений, особенно когда победители отнимают у побежденных часть территории; тогда патриотизм побежденных приобретает характер длительной и жестокой ненависти к победителям, и месть им становится жизненным идеалом всего племени, не только его худших элементов – «высших», или правящих, классов, но и лучших – его трудящихся масс.

И вот если бы мы взяли себе часть земной поверхности посредством необходимого насилия, то несомненно, что это повело бы к объединению всего земного человечества в одном чувстве земного патриотизма, в беспощадной расовой ненависти и злобе против наших колонистов; истребление пришельцев каким бы то ни было способом, вплоть до самых предательских, стало бы в глазах людей священным и благородным подвигом, дающим бессмертную славу. Существование наших колонистов сделалось бы совершенно невыносимым. Вы знаете, что разрушение жизни – дело вообще очень легкое, даже для нашей культуры; мы неизмеримо сильнее земных людей в случае открытой борьбы, но при неожиданных нападениях они могут убивать нас так же успешно, как обыкновенно делают это друг с другом. Надо к тому же заметить, что искусство истребления развито у них несравненно выше, чем все другие стороны их своеобразной культуры.

Жить вместе с ними и среди них было бы, конечно, прямо невозможно; это означало бы вечные заговоры и террор с их стороны, постоянное сознание неотвратимой опасности и бесчисленные жертвы для наших товарищей. Пришлось бы выселить их из всех занятых нами областей – выселить сразу десятки, может быть, сотни миллионов. При их общественном строе, не признающем товарищеской взаимной поддержки, при их социальных отношениях, обуславливающих услуги и помощь уплатою денег, наконец, при их неуклюжих и лишенных гибкости способах производства, не допускающих достаточно быстрого расширения производительности и перераспределения продуктов труда, – эти миллионы выселенных нами людей были бы в громадном большинстве обречены на мучительную голодную смерть. А уцелевшее меньшинство образовало бы кадры ожесточенных, фанатичных агитаторов против нас среди всего остального человечества Земли.

Затем пришлось бы все-таки продолжать борьбу. Вся наша земная область должна была бы превратиться в непрерывно охраняемый военный лагерь. Страх дальнейших захватов с нашей стороны и великая расовая ненависть направили бы все силы земных племен на подготовку и организацию войн против нас. Если уже теперь их оружие гораздо совершеннее их орудий труда, то тогда прогресс истребительной техники пойдет у них еще несравненно быстрее. В то же время они будут отыскивать и подстерегать случаи для внезапного открытия войны, и если им это удастся, они, несомненно, нанесут нам большие вознаграждаемые потери, хотя бы дело и окончилось нашей победой. Кроме того, нет ничего невозможного и в том, что они каким-нибудь способом узнают устройство нашего главного оружия. Радирующая материя им уже известна, а метод ускоренного ее разложения может быть либо разведан ими каким-нибудь способом у нас, либо даже самостоятельно открыт их учеными. Но вы знаете, что при таком оружии тот, кто на несколько минут предупреждает противника своим нападением, тот неизбежно его уничтожает; и разрушить высшую жизнь в этом случае так же легко, как самую элементарную.

Каково же было бы существование наших товарищей среди этих опасностей и этого вечного ожидания? Были бы отравлены не только все радости жизни, но и самый тип ее скоро был бы извращен и

принижен. В нее мало-помалу проникли бы подозрительность, мстительность, эгоистичная жажда самосохранения и неразрывно связанная с нею жестокость. Эта колония перестала бы быть нашей колонией, превратившись в военную республику среди побежденных, неизменно враждебных племен. Повторяющиеся нападения с их жертвами не только порождали бы чувство мести и злобы, искажающее дорогой нам образ человека, но и объективно вынуждали бы к переходу из самозащиты в беспощадное наступление. И в конце концов после долгих колебаний и бесплодной мучительной растраты сил дело пришлось бы неизбежно к той постановке вопроса, какую мы, существа сознательные и предвидящие ход событий, должны принять с самого начала: колонизация Земли требует полного истребления земного человечества.

(Среди сотен слушателей проносится ропот ужаса, из которого выделяется громкое негодующее восклицание Нэтти. Когда тишина восстанавливается, Стэрни спокойно продолжает).

– Надо понять необходимость и твердо смотреть ей в глаза, как бы ни была она сурова. Нам предстоит одно из двух: либо остановка в развитии нашей жизни, либо уничтожение чуждой нам жизни на Земле. Ничего третьего нет перед нами. (Голос Нэтти: «Неправда!») Я знаю, что имеет в виду Нэтти, протестуя против моих слов, и разберу сейчас ту третью возможность, которую она предлагает.

– Это попытка немедленного социалистического перевоспитания земного человечества, план, к которому все мы еще недавно склонялись и от которого теперь, по моему мнению, должны неизбежно отказаться. Мы достаточно уже знаем о людях Земли, чтобы понять всю неосуществимость этой идеи.

Уровень культуры передовых народов Земли приблизительно соответствует тому, на котором стояли наши предки в эпоху прорытия Больших каналов. Там также господствует капитализм и существует пролетариат, ведущий борьбу за социализм. Судя по этому, можно было думать, что недалек уже момент переворота, который устранил бы систему организованного насилия и создаст возможность свободного и быстрого развития человеческой жизни. Но у земного капитализма есть важные особенности, сильно изменяющие все дело.

С одной стороны, земной мир страшно раздроблен политическими и национальными делениями, так что борьба за

социализм ведется не как единый цельный процесс в одном обширном обществе, а как целый ряд самостоятельных и своеобразных процессов в отдельных обществах, разъединенных государственной организацией, языком, иногда и расою. С другой стороны, формы социальной борьбы там гораздо грубее и механичнее, чем это было у нас, и несравненно большую роль в них играет прямое материальное насилие, воплощенное в постоянных армиях и вооруженных восстаниях.

Благодаря всему этому получается то, что вопрос о социальной революции становится очень неопределенным: предвидится не одна, а множество социальных революций, в разных странах в различное время, и даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное – с сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случаях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное поражение, которое в целых обширных государствах на десятки лет отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного рода уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собственное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних собственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием – варварским патриотизмом. Это будет далеко не наш социализм.

Задача нашего вмешательства должна была, по нашим прежним планам, заключаться в том, чтобы ускорить и помочь торжеству социализма. Каким способом для нас возможно это сделать? Во-первых, мы можем передать людям Земли нашу технику, нашу науку, наше умение господствовать над силами природы, и тем самым настолько сразу поднять их культуру, что отсталые формы

экономической и политической жизни окажутся в слишком резком противоречии с нею и падут в силу своей негодности. Во-вторых, мы можем прямо поддержать социалистический пролетариат в его революционной борьбе и помочь ему сломить сопротивление двух классов. Иных способов нет. Но эти два достигают ли своей цели? Мы теперь достаточно знаем, чтобы решительно ответить: нет!

К чему приведет сообщение земным людям наших технических знаний и методов?

Первыми захватят их в свою пользу и увеличат ими свою силу господствующие классы всех стран. Это неизбежно, потому что в их руках находятся все материальные средства труда и им служат девяносто девять сотых всех ученых и инженеров, – значит, им будет принадлежать вся возможность применения новой техники. И они воспользуются ею ровно настолько, насколько это будет для них выгодно и насколько это будет усиливать их власть над массами. Более того: те новые и могущественные средства истребления и разрушения, которые при этом попадут в их руки, они постараются немедленно пустить в ход для подавления социалистического пролетариата. Они удесятят его преследования и организуют широкую провокацию, чтобы поскорее вызвать его на открытый бой и в этом бою раздавить его сознательные и лучшие силы, идейно его обезглавить, пока он не успел, в свою очередь, овладеть новыми лучшими методами военного насилия. Таким образом, наше вмешательство послужит толчком для реакции сверху и в то же время даст ей оружие невиданной силы. В конечном итоге оно на целые десятки лет замедлит борьбу социализма.

А чего достигли бы мы попытками оказать прямую помощь социалистическому пролетариату против его врагов?

Предположим – это ведь еще не наверное, – что он примет союз с нами. Первые победы будут тогда одержаны легко. Но дальше? Неизбежное развитие среди всех других классов общества самого ожесточенного и бешеного патриотизма, направленного против нас и против социалистов Земли... Пролетариат все еще представляет меньшинство почти во всех, даже наиболее передовых странах Земли; большинство образуют не успевшие разложиться остатки класса мелких собственников, массы наиболее невежественные и темные. Восстановить всех их до крайней степени против пролетариата будет

тогда для крупных собственников и их ближайших прислужников – чиновников и ученых – очень легко, потому что эти массы, по своей сущности консервативные и даже частью реакционные, чрезвычайно болезненно воспринимают всякий быстрый прогресс. Передовой пролетариат, окруженный со всех сторон страшно озлобленными, беспощадными врагами, – к ним примкнут и обширные слои отсталых по развитию пролетариев, – окажется в таком же невыносимом положении, в каком оказались бы наши колонисты среди побежденных земных племен. Будут бесчисленные предательские нападения, погромы, резня, а главное, вся позиция пролетариата среди общества будет как нельзя более неблагоприятна для того, чтобы руководить преобразованием общества. И опять-таки наше вмешательство не приблизит, а замедлит социальный переворот.

Время этого переворота, таким образом, остается неопределенным, и не от нас зависит его ускорить. Во всяком случае, ждать его пришлось бы гораздо дольше, чем это для нас возможно. Уже через 30 лет у нас окажется 15–20 миллионов избыточного населения, а затем каждый год оно будет возрастать еще на 20–25 миллионов. Надо заранее произвести значительную колонизацию; иначе у нас не хватит сил и средств для того, чтобы сразу выполнить ее в необходимых размерах.

Кроме того, более чем сомнительно, чтобы нам удалось мирно столкнуться даже с социалистическими обществами Земли, если бы они неожиданно скоро образовались. Как я уже говорил, это будет во многом не наш социализм.

Века национального дробления, взаимного непонимания, грубой и кровавой борьбы не могли пройти даром, – они надолго оставят глубокие следы в психологии освобожденного земного человечества; и мы не знаем, сколько варварства и узости социалисты Земли принесут с собою в свое новое общество.

Перед нами налицо опыт, который позволяет судить, в какой мере далека от нас психология Земли даже в лучших ее представителях. Из последней экспедиции мы привезли с собою одного земного социалиста, человека, выдающегося в своей среде душевной силой и физическим здоровьем. И что же? Вся наша жизнь оказалась для него такой чуждой, в таком противоречии со всей его организацией, что

прошло очень немного времени, и он уже болен глубоким психическим расстройством.

Таков один из лучших, которого выбрал среди многих сам Мэнни. Чего мы можем ожидать от остальных?

Итак, остается все та же дилемма: или приостановка нашего собственного размножения, и с нею ослабление всего развития нашей жизни, или колонизация Земли, основанная на истреблении всего ее человечества.

Я говорю об истреблении всего ее человечества, потому что мы не можем даже сделать исключения для его социалистического авангарда. Нет, во-первых, никакой технической возможности среди всеобщего уничтожения выделить этот авангард среди остальных масс, незначительную долю которых он представляет. И, во-вторых, если бы нам удалось сохранить социалистов, они сами начали бы потом с нами ожесточенную, беспощадную войну, жертвуя в ней собою до полного истребления, потому что они никогда не могли бы примириться с убийством сотен миллионов людей, им подобных и с ними связанных многими, часто очень тесными жизненными связями. В столкновениях двух миров здесь нет компромисса.

Мы должны выбирать. И я говорю: мы можем выбирать только одно.

Высшей жизнью нельзя жертвовать ради низшей. Среди земных людей не найдется и нескольких миллионов, сознательно стремящихся к действительно человеческому типу жизни. Ради этих зародышевых людей мы не можем отказаться от возможности зарождения и развития десятков, может быть, сотен миллионов существ нашего мира – людей в несравненно более полном значении этого слова. И не будет жестокости в наших действиях, потому что мы сумеем выполнить это истребление с гораздо меньшими страданиями для них, чем они сами постоянно причиняют друг другу.

Мировая жизнь едина. И для нее будет не потерей, а приобретением, если на Земле вместо ее еще далекого полуварварского социализма развернется теперь же наш социализм, жизнь несравненно более гармоничная в ее непрерывном, беспредельном развитии.

(После речи Стэрни наступает сначала глубокая тишина. Ее прерывает Мэнни, предлагая высказаться тем, кто держится

противоположного взгляда. Слово берет Нэтти.)

VIII. Нэтти

– «Мировая жизнь едина» – это сказал Стэрни. И что же он предложил нам?

Уничтожить, навеки истребить целый своеобразный тип этой жизни, тип, которого потом мы никогда уже не можем ни восстановить, ни заменить.

Сотни миллионов лет жила прекрасная планета, жила своей, особенной жизнью, не такой, как другие... И вот из ее могучих стихий стало организовываться сознание; поднимаясь в жестокой и трудной борьбе с низших ступеней на высшие, оно наконец приняло близкие, родные нам человеческие формы. Но эти формы не те, что у нас: в них отразилась и сосредоточилась история иной природы, иной борьбы; под ними скрыта иная стихийность, в них заключаются иные противоречия, иные возможности развития. Настала эпоха, когда впервые может осуществиться соединение двух великих линий жизни. Сколько нового многообразия, какая высшая гармония должна возникнуть из этого сочетания! И нам говорят: мировая жизнь едина, поэтому нам надо не объединять, а... разрушать ее.

Когда Стэрни указывал, насколько человечество Земли, его история, его нравы, его психология непохожи на наши, он опровергал свою идею почти лучше, чем я могу это сделать. Если бы они были совершенно похожи на нас во всем, кроме ступени развития, если бы они были тем, чем были наши предки в эпоху нашего капитализма, тогда со Стэрни можно было бы согласиться: низшей ступенью стоит пожертвовать ради высшей, слабыми ради сильных. Но земные люди не таковы, они не только ниже и слабее нас по культуре – они иные, чем мы, и потому, устраняя их, мы их не заместим в мировом развитии, мы только механически заполним собою ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни.

Не в варварстве, не в жестокости земной культуры заключается ее действительное различие от нашей. Варварство и жестокость – это только преходящие проявления той общей расточительности в процессе развития, которою отличается вся жизнь Земли. Там борьба

за существование энергичнее и напряженнее, природа непрерывно создает гораздо больше форм, но гораздо больше их и погибает жертвами развития. И это не может быть иначе, потому что от источника жизни – Солнца – Земля в целом получает лучистой энергии в восемь раз больше, чем наша планета. Оттого там рассеивается и разбрасывается так много жизни, оттого в разнообразии ее форм возникает так много противоречий и так мучительно сложен и полон крушений весь путь их примирения. В царстве растений и животных миллионы видов ожесточенно боролись и быстро вытесняли друг друга, участвуя своей жизнью и своей смертью в выработке новых, более законченных и гармоничных, более синтетических типов. Так было и в царстве человека.

Наша история, если ее сравнить с историей земного человечества, кажется удивительно простой, свободной от блужданий и правильной до схематичности. Спокойно и непрерывно происходило накопление элементов социализма, – исчезали мелкие собственники, поднимался со ступени на ступень пролетариат; все это происходило без колебаний и толчков, на всем протяжении планеты, объединенной в связное политическое целое. Велась борьба, но люди кое-как понимали друг друга; пролетариат не заглядывал далеко вперед, но и буржуазия не была утопична в своей реакционности; различные эпохи и общественные формации не перемешивались до такой степени, как это происходит на Земле, где в высококапиталистической стране возможна иногда феодальная реакция, и многочисленное крестьянство, отстающее по своей культуре на целый исторический период, часто служит для высших классов орудием подавления пролетариата. Ровным и гладким путем мы пришли несколько поколений тому назад к такому общественному устройству, которое освобождает и объединяет все силы социального развития.

Не такова была дорога, по которой шли наши земные братья, – тернистая, с множеством поворотов и перерывов. Немногие из нас знают, и никто из нас не в силах себе ясно представить, до какого безумия было доведено искусства мучить людей у самых культурных народов Земли в идейных и политических организациях господства высших классов – в церкви и государстве. И что же в результате? Замедлилось развитие? Нет, мы не имеем основания утверждать этого, потому что первые стадии капитализма, до зарождения пролетарского

социалистического сознания, протекли среди путаницы и жестокой борьбы различных формаций не медленнее, а быстрее, чем у нас, – в постепенных и более спокойных переходах. Но самая суровость и беспощадность борьбы породила в борцах такой подъем энергии и страсти, такую силу героизма и мученичества, каких не знала более умеренная и менее трагичная борьба наших предков. И в этом земной тип жизни людей не ниже, а выше нашего, хотя мы, старшие по культуре, стоим на гораздо более высокой ступени.

Земное человечество раздроблено, его отдельные расы и нации глубоко срослись со своими территориями, они говорят на разных языках, и глубокое непонимание друг друга проникает во все их жизненные отношения... Все это верно, и верно то, что общечеловеческое объединение, которое с великими трудностями пробивает себе дорогу через все эти границы, будет достигнуто нашими земными братьями сравнительно гораздо позже, чем нами. Это дробление возникло из обширности земного мира, богатства и разнообразия его природы. Оно ведет к возникновению множества различных точек зрения и оттенков в понимании вселенной. Разве все это ставит Землю и ее людей ниже, а не выше нашего мира в аналогичные эпохи его истории?

Даже механическое различие языков, на которых они говорят, во многом помогало развитию их мышления, освобождая понятие от грубой власти слов, которыми они выражаются. Сравните философию земных людей с философией наших капиталистических предков. Философия Земли не только разнообразнее, но и тоньше, не только исходит из более сложного материала, но в своих лучших школах и анализирует его глубже, вернее, устанавливая связь фактов и понятий. Конечно, всякая философия есть выражение слабости и разрозненности познания, недостаточности научного развития; это попытка дать единую картину бытия, заполняя предложениями пробелы научного опыта; поэтому философия будет устранена на Земле, как устранена уже у нас, монизмом наука. Но посмотрите, сколько предложений философии, созданной их передовыми мыслителями и борцами, предупреждают в грубых чертах открытия нашей науки – такова почти вся общественная философия социалистов. Ясно, что племена, превзошедшие наших предков в

творчестве философском, могут впоследствии превзойти нас самих в творчестве научном.

И Стэрни хочет измерять это человечество счетом праведников – сознательных социалистов, которых оно сейчас в себе заключает, – хочет судить его по его нынешним противоречиям, а не по тем силам, которыми порождены и в свое время будут разрешены эти противоречия. Он хочет осушить навеки этот бурный, но прекрасный океан жизни!

Твердо и решительно мы должны ему ответить: никогда!

Мы должны подготовить свой будущий союз с человечеством Земли. Мы не можем значительно ускорить его переход к свободному строю: но то немногое, что мы в силах сделать для этого, мы сделать должны. И если первого посланника Земли в нашей среде мы не сумели уберечь от ненужных страданий болезни, это не делает чести нам, а не им. К счастью, он скоро выздоровеет, и даже если в конце концов его убьет это слишком быстрое сближение с чуждой для него жизнью, он успеет сделать еще многое для будущего союза двух миров.

А наши собственные затруднения и опасности мы должны преодолеть на других путях. Надо направить новые научные силы на химию белковых веществ, надо готовить, насколько возможно, колонизацию Венеры. Если мы не успеем решить этих задач в короткий срок, который нам остался, надо временно сократить размножение. Какой разумный акушер не пожертвует жизнью народившегося младенца, чтобы сохранить жизнь женщины? Мы должны также, если это необходимо, пожертвовать частицей той нашей жизни, которой еще нет, для той, пока еще чужой жизни, которая есть и развивается. Союз миров бесконечно окупит эту жертву.

Единство жизни есть высшая цель, и любовь – высший разум!

(Глубокое молчание. Затем слово берет Мэнни.)

IX. Мэнни

– Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нэтти. Я очень рад этому,

потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет.

Мы можем построить десятки тысяч больших этеронетов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радирующей материи, которая служит необходимым двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем до сих пор. А между тем все известные нам месторождения истощаются и новые открываются все реже и реже.

Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этеронетам их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Их мы затрачиваем при производстве «минус-материи», без которой те же этеронеты и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится.

Но всего хуже то, что единственная возможная замена колонизации – синтез белков – может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени, так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений химических составов, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на исследования по синтезу белков и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем, в случаях успеха, для массового производства белков опять-таки необходимо будет затрачивать громадные количества активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении.

Таким образом, с какой точки зрения ни посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере; и для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно на Венере.

Относительно Земли можно предполагать, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры это вполне установлено. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью. На Венере некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации были сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать радий на Земле, то придется перерыть ее материки так, как мы это сделали на нашей планете; на это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обмануться в ожиданиях. На Венере остается только добывать то, что уже найдено, и это можно сделать без всяких промедлений.

Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь, чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может быть, временную колонизацию Венеры, с единственной целью добывания активной материи.

Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не месяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием радия. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей. Будут большие жертвы; возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад. Но попытку сделать необходимо.

Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, остров Горячих бурь. Я тщательно изучил его природу и

составил подробный план организации всего дела. Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам.

(Никто не высказался против, и Мэнни переходит к изложению своего плана, причем обстоятельно рассматривает все технические детали. По окончании его речи выступают новые ораторы, но все они говорят исключительно по поводу его плана, разбирая частности. Некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции, но все соглашаются, что попытаться надо. В заключение принимается резолюция, предложенная Мэнни.)

Х. Убийство

То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце, и еще перед моим сознанием с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стэрни с его неумолимо-спокойным лицом. Все остальное смешивалось и терялось в тяжелом, темном хаосе.

Как автомат, я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ, и это как будто внушило мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной: мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение – все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой.

Я написал руководящей фабричной коллегии, что на время ухожу от работы. Энно я сказал, что нам надо пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Нэллу. Я ответил: «Нет» – и поцеловал Энно в последний раз.

Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль, и были обрывки мыслей. От речей Нэтти и Мэнни осталось бледное, равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение: «Да, вот почему уехала Нэтти: от экспедиции зависит все». Резко и отчетливо

выступали отдельные выражения и целые фразы Стэрни: «Надо понять необходимость... несколько миллионов человеческих зародышей... полное истребление земного человечества... он болен тяжелой душевной болезнью...» Но не было ни связи, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвлеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала: «Все умрут... и Анна Николаевна... и рабочий Ваня... и Нэтти, нет, Нэтти останется, она марсианка... а все умрут... и не будет жестокости, потому что не будет страданий... да, это говорил Стэрни... а все умрут, оттого что я был болен... значит, я виновен...» Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали и оставались в сознании, холодные, неподвижные. И время как будто остановилось с ними.

Это был бред, мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было вне меня. Был один черный призрак в моей душе, но он был – все. И конца ему быть не могло, потому что время остановилось.

Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознания. Самоубийство казалось бесполезным и скучным: разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была все? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное все, но мое «я» терялось в этом как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. «Меня» не было.

Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски; я стискивал зубы и удерживался.

Мысль о Стэрни постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное непреклонное решение: «Надо видеть Стэрни». Зачем, по

каким мотивам видеть, я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю. И было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение.

Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стэрни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить; но холод в сердце и холод вокруг парализовали мысль. Через три часа я доехал.

Войдя в большую залу обсерватории, я сказал одному из работавших там товарищей: «Мне надо видеть Стэрни». Товарищ пошел за Стэрни и, возвратившись через минуту, сообщил, что Стэрни занят проверкой инструментов, через четверть часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете.

Меня провели в кабинет, я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, частью уже знакомых мне, частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, оканчивавшемся тремя ножками, на столе лежала раскрытая книга о Земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние, близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоскою чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени.

В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стэрни со своим обычным спокойно-деловым видом; он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом:

– Чем я могу быть полезен?

Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле.

– Муж Нэтти... – наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности не обращаясь к нему.

– Я был мужем Нэтти, – спокойно поправил он: – Мы разошлись уже давно.

– ...Истребление... не будет... жестокостью... – продолжал я, так же медленно и полусознательно повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу.

– А, вы вот о чем, – сказал он спокойно. – Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совершенно иное.

– Предварительное решение... – машинально повторил я.

– Что касается моего тогдашнего плана, – прибавил Стэрни, – то хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно.

– Не вполне... – повторил я.

– Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушили отчасти мою аргументацию...

– Истребление... отчасти, – перебил я, и, должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии. Стэрни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание.

И вдруг холодное кольцо боли с небывалой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно охватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке, и стихийно-непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла, нанося страшный удар Стэрни. Одна из ножек треножника попала ему в висок, и он без крика, без стога склонился на бок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие, оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено.

Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил: «Я убил Стэрни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет, но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стэрни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решался. Я сам спросил его:

– Здесь ли Энно?

– Нет, – отвечал он, – она уехала на несколько дней к Нелле.

Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем; я сказал, что мне не хочется

разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу душевнобольных.

Там мне предоставили большое удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать.

Положение казалось мне ясным. Я убил Стэрни и тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее способным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти, Стэрни убит – его идея воскресает. Последняя надежда исчезает, земной мир обречен. И я виновен во всем.

Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности. А потом тоска и боль стали вновь усиливаться, казалось, до бесконечности.

Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют, но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия.

Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на Землю. Я думал, что за этим скрывается предстоящая мне смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет: оно могло осквернить их.

Впечатления обратного путешествия очень смутны в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было; я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.

Часть IV

1. У Вернера

Не помню, каким образом я очнулся в лечебнице у доктора Вернера, моего старшего товарища. Это была земская больница одной из северных губерний, знакомая мне еще ранее из писем Вернера; она находилась в нескольких верстах от губернского города, была очень скверно устроена и всегда страшно переполнена, с необыкновенно ловким экономом и недостаточным, замученным работою медицинским персоналом. Доктор Вернер вел упорную войну с очень либеральной земской управой из-за эконома, из-за лишних барачков, которые она строила очень неохотно, из-за церкви, которую она достраивала во что бы то ни стало, из-за жалованья служащих и т. п. Больные благополучно переходили к окончательному слабоумию вместо выздоровления, а также умирали от туберкулеза вследствие недостатка воздуха и питания. Сам Вернер, конечно, давно ушел бы оттуда, если бы его не вынуждали оставаться совершенно особые обстоятельства, связанные с его революционным прошлым.

Но меня все прелести земской лечебницы несколько не коснулись. Вернер был хороший товарищ и не задумался пожертвовать для меня своими удобствами. В своей большой квартире, отведенной ему как старшему врачу, он предоставил мне две комнаты, в третьей рядом с ними поселил молодого фельдшера, в четвертой под видом служителя для ухода за больными – одного скрывавшегося товарища. У меня не было, конечно, прежнего комфорта, и надзор за мною при всей деликатности молодых товарищей был гораздо грубее и заметнее, чем у марсиан, но для меня все это было совершенно безразлично.

Доктор Вернер, как и марсианские врачи, почти не лечил меня, только давал иногда усыпляющие средства, а заботился главным образом о том, чтобы мне было удобно и спокойно. Каждое утро и каждый вечер он заходил ко мне после ванны, которую для меня устраивали заботливые товарищи; но заходил он только на минутку и

ограничивался вопросом, не надо ли мне чего-нибудь. Я же за долгие месяцы болезни совершенно отвык разговаривать и отвечал ему только «нет» или не отвечал вовсе. Но его внимание трогало меня, а в то же время я считал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и что должен сообщить ему об этом. Наконец мне удалось собраться с силами настолько, чтобы сказать ему, что я убийца и предатель и что из-за меня погибнет все человечество. Он ничего не возразил на это, только улыбнулся и после того стал заходить ко мне чаще.

Мало-по-малу перемена обстановки оказала свое благотворное действие. Боль слабее сжимала сердце, тоска бледнела, мысли становились все более подвижными, их колорит делался светлее. Я стал выходить из комнат, гулял по саду и в роще. Кто-нибудь из товарищей постоянно был поблизости; это было неприятно, но я понимал, что нельзя же убийцу пустить одного гулять на свободе; иногда я даже сам разговаривал с ними, конечно, на безразличные темы.

Была ранняя весна, и возрождение жизни вокруг уже не обостряло моих мучительных воспоминаний; слушая чириканье птичек, я находил даже некоторое грустное успокоение в мысли о том, что они останутся и будут жить, а только люди обречены на гибель. Раз как-то возле рощи меня встретил слабоумный больной, который шел с заступом на работу в поле. Он поспешил отрекомендоваться мне, причем с необыкновенной гордостью – у него была мания величия, – выдавая себя за урядника, – очевидно, высшая власть, которую он знал во время жизни на свободе. В первый раз за всю мою болезнь я невольно засмеялся. Я чувствовал отечество вокруг себя и, как Антей, набирался, правда, очень медленно, новых сил от родной земли.

II. Было – не было?

Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мной было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал, что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми

людьми, которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице совершенно больным, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решились обратиться к нему. Они уехали в тот же день. Вернеру они показались людьми надежными, которым нет основания не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне...

Я хотел рассказать Вернеру историю совершенного мной убийства, но это представлялось мне страшно трудным вследствие ее сложности и множества таких обстоятельств, которые каждому беспристрастному человеку должны были показаться очень странными. Я объяснил свое затруднение Вернеру и получил от него неожиданный ответ:

– Самое лучшее, если вы вовсе не будете мне теперь ничего рассказывать. Это бесполезно для вашего выздоровления. Спорить с вами я, конечно, не буду, но истории вашей все равно не поверю. Вы больны меланхолией, болезнью, при которой люди совершенно искренно приписывают себе небывалые преступления, и их память, приспособляясь к их бреду, создает ложные воспоминания. Но и вы мне тоже не поверите, пока не выздоровеете; и поэтому лучше отложить ваш рассказ до того времени.

Если бы этот разговор произошел несколькими месяцами раньше, я, несомненно, увидел бы в словах Вернера величайшее недоверие и презрение ко мне. Но теперь, когда моя душа уже искала отдыха и успокоения, я отнесся к делу совершенно иначе. Мне было приятно думать, что мое преступление неизвестно товарищам и что самый факт его еще может законно подвергаться сомнению. Я стал думать о нем реже и меньше.

Выздоровление пошло быстрее; только изредка возвращались приступы прежней тоски и всегда ненадолго. Вернер был явно доволен мною и почти даже снял с меня медицинский надзор. Как-то раз, вспоминая его мнение о моем «бреде», я попросил его дать мне прочитать типичную историю такой же болезни, как моя, из тех, которые он наблюдал и записывал в лечебнице. С большим колебанием и явной неохотой он, однако, исполнил мою просьбу. Из

большой груды историй болезни он на моих глазах выбрал одну и подал ее мне.

Там говорилось о крестьянине отдаленной, глухой деревушки, которого нужда привела на заработки в столицу, на одну из самых больших ее фабрик. Жизнь большого города его, видимо, ошеломила, и, по словам его жены, он долго ходил «словно бы не в себе». Потом это прошло, и он жил и работал как все остальные. Когда разразилась на фабрике стачка, он был заодно с товарищами. Стачка была долгая и упорная; и ему, и жене, и ребенку пришлось сильно голодать. Он вдруг «загрустил», стал упрекать себя за то, что женился и прижил ребенка и что вообще жил «не по-божески».

Затем он начал уже «заговариваться», и его отвезли в больницу, а из больницы отправили в лечебницу той губернии, откуда он был родом. Он утверждал, что нарушил стачку и выдал товарищей, а также «доброе инженер», тайно поддерживающего стачку, который и был повешен правительством. По случайности я был близко знаком со всей историей стачки – я тогда работал в столице; в действительности никакого предательства там не произошло, а «добрый инженер» не только не был казнен, но даже и не арестован. Болезнь рабочего окончилась выздоровлением.

Эта история придала новый оттенок моим мыслям. Стало возникать сомнение, совершил ли я на самом деле убийство или, быть может, как говорил Вернер, это было «приспособление моей памяти к бреду меланхолии». В то время все мои воспоминания о жизни среди марсиан были странно-смутны и бледны, во многом даже отрывочны и неполны; и хотя картина преступления вспоминалась всего отчетливее, но и она как-то путалась и тускнела перед простыми и ясными впечатлениями настоящего. Временами я отбрасывал малодушные, успокоительные сомнения и ясно сознавал, что все было и ничем это изменить нельзя. Но потом сомнения и софизмы возвращались; они мне помогали отделаться от мысли о прошлом. Люди так охотно верят тому, что для них приятно... И хотя где-то в глубине души оставалось сознание, что это ложь, но я упорно ей предавался, как предаются радостным мечтам.

Теперь я думаю, что без этого обманчивого самовнушения мое выздоровление не было бы ни таким быстрым, ни таким полным.

III. Жизнь родины

Вернер тщательно устранял от меня всякие впечатления, которые могли бы быть «неполезны» для моего здоровья. Он не позволял мне заходить к нему в самую лечебницу, и из всех душевнобольных, которые там находились, я мог наблюдать только тех неизлечимо-слабоумных и дегенератов, которые ходили на свободе и занимались разными работами в поле, в роще, в саду; а это, правду сказать, было для меня неинтересно: я очень не люблю всего безнадежного, всего ненужного и обреченного. Мне хотелось видеть острых больных и именно тех, которые могут выздороветь, особенно меланхоликов и веселых маниакальных. Вернер обещал сам показать мне их, когда мое выздоровление достаточно продвинется вперед, но все откладывал и откладывал. Так дело до этого и не дошло.

Еще больше Вернер старался изолировать меня от всей политической жизни моей родины. По-видимому, он полагал, что самое заболевание возникло из тяжелых впечатлений революции; он не подозревал того, что все это время я был оторван от родины и даже не мог знать, что там делалось. Это полное незнание он считал просто забвением, обусловленным моей болезнью, и находил, что оно очень полезно для меня; и он не только сам ничего из этой области мне не рассказывал, но запретил и моим телохранителям; а во всей его квартире не было ни единой газеты, ни единой книжки, журнала последних лет: все это хранилось в его кабинете в лечебнице. Я должен был жить на политически-необитаемом острове.

Вначале, когда мне хотелось только спокойствия и тишины, такое положение мне нравилось. Но потом, по мере накопления сил, мне стало делаться все теснее в этой раковине; я начал приставать с расспросами к моим спутникам, а они, верные приказу врача, отказывались мне отвечать. Было досадно и скучно. Я стал искать способов выбраться из моего политического карантина и попытался убедить Вернера, что я уже достаточно здоров, чтобы читать газеты. Но все было бесполезно: Вернер объяснил, что это еще преждевременно и что он сам решит, когда мне можно будет переменить мою умственную диету.

Оставалось прибегнуть к хитрости. Я должен был найти себе подобного сообщника из числа окружающих. Фельдшера склонить на свою сторону было бы очень трудно: он имел слишком высокое представление о своем профессиональном долге. Я направил усилия на другого телохранителя, товарища Владимира. Тут большого сопротивления не встретилось.

Владимир был раньше рабочим. Малообразованный и почти еще мальчик по возрасту, он был рядовым революции, но уже испытанным солдатом. Во время одного знаменитого погрома, где множество товарищей погибло от пуль и в пламени пожара, он пробил себе дорогу сквозь толпу погромщиков, застрелив несколько человек и не получив по какой-то случайности ни одной раны. Затем он долго скитался нелегальным по разным городам и селам, выполняя скромную и опасную роль транспортера оружия и литературы. Наконец почва стала слишком горяча под его ногами, и он вынужден был на время скрыться у Вернера. Все это я, конечно, узнал позже. Но с самого начала я подметил, что юношу очень угнетает недостаток образования и трудность самостоятельных занятий при отсутствии предварительной научной дисциплины. Я начал заниматься с ним; дело пошло хорошо, и очень скоро я навсегда завоевал его сердце. А дальнейшее было уже легко; медицинские соображения были вообще мало понятны Владимиру, и у нас с ним составилась маленький заговор, парализовавший строгость Вернера. Рассказы Владимира, газеты, журналы, политические брошюры, которые он тайком приносил мне, быстро развернули передо мною жизнь родины за годы моего отсутствия.

Революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала благодаря стремительности своего нападения одержал большие победы; но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции. Пока он набирался энергии для нового боя и ожидал крестьянского арьергарда революции, между старой помещичьей властью и буржуазией начались переговоры, попытки сторговаться и столковаться для подавления революции. Попытки эти были облечены в форму парламентской комедии; они постоянно оканчивались неудачей вследствие непримиримости крепостников-реакционеров.

Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим. Буржуазия, утомленная бурями революции, запуганная самостоятельностью и энергией первых выступлений пролетариата, все время шла направо. Крестьянство, в своей массе вполне революционное по настроению, медленно усваивало политический опыт и пламенем бесчисленных поджогов освещало свой путь к высшим формам борьбы. Старая власть наряду с кровавым подавлением крестьянства попыталась часть его подкупить продажей земельных участков, но вела все дело в таких грошовых размерах и до такой степени бестолково, что из этого ничего не вышло. Повстанческие выступления отдельных партизан и групп учащались с каждым днем. В стране царил небывалый, невиданный нигде в мире двойной террор – сверху и снизу.

Страна, очевидно, шла к новым решительным битвам. Но так долог и полон колебаний был этот путь, что многие успели утомиться и даже отчаяться. Со стороны радикальной интеллигенции, которая участвовала в борьбе главным образом своим сочувствием, измена была почти поголовная. Об этом, конечно, жалеть было нечего. Но даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныние и безнадежность. По этому факту я мог судить, насколько тяжела и изнурительна была революционная жизнь за минувшее время. Сам я, свежий человек, помнивший предреволюционное время и начало борьбы, но не испытавший на себе всего гнета последующих поражений, видел ясно бессмысленность похорон революции; я видел, насколько все изменилось за эти годы, сколько новых элементов прибавилось для борьбы, насколько невозможна остановка на создавшемся мнимом равновесии. Новая волна революции была неизбежна и недалека.

Приходилось, однако, ждать. Я понимал, как мучительно-тяжела работа товарищей в этой обстановке. Но сам я не спешил идти туда независимо даже от мнения Вернера. Я находил, что лучше запастись силами, чтобы их хватило тогда, когда они понадобятся полностью.

Во время долгих прогулок по роцце мы с Владимиром обсуждали шансы и условия предстоящей борьбы. Меня глубоко трогали его наивно-героические планы и мечты; он казался мне благородным милым ребенком, которому суждена такая же простая непритязательно-красивая смерть бойца, какова была его юная жизнь.

Славные жертвы намечает себе революция, и хорошею кровью окрашивает она свое пролетарское знамя!

Но не один Владимир казался мне ребенком. Много наивного и детского, чего я раньше как будто не замечал и не чувствовал, я находил и в Вернере, старом работнике революции, и в других товарищах, о которых вспоминал. Все люди, которых я знал на Земле, представлялись мне полудетьми, подростками, смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимися внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества.

IV. Конверт

Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зарницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься с низов. И это солнце и это пробуждение согревали мою душу и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни.

В этом смутно-жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом и приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми... Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия, – когда всем будет слишком не до того и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывавшие сомнение в надежности этих расчетов, во мне зарождалась тревога, и беспокойство, и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить.

В одно летнее утро Вернер, вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он запоминал мои ответы. Все это было не вполне обычно, и сначала я подумал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего

маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел – опять-таки не в сад, а к себе в кабинет, и только через полчаса я увидел его в окно гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то – очевидно, по специальной просьбе – подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице; в этот раз он, должно быть, получил письмо с запросом обо мне.

От кого письмо и зачем, узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно – он почему-нибудь, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли чего-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добраться до истины.

Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным, скрытность Вернера – неосновательной. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного.

– Надо полагать, – сказал Владимир, – что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил.

– А куда он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги? – спросил я.

– В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом, – отвечал Владимир.

– Хорошо, в таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине.

Владимир ушел и скоро вернулся.

– Там нет никаких клочков, – сообщил он, – а вот что я нашел там, конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня.

Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня...

Почерк Нэтти!

Среди того хаоса воспоминаний и мыслей, который поднялся в моей душе, когда я увидел, что Нэтти была на Земле и не хотела встретиться со мной, для меня вначале был ясен только конечный вывод. Он возник как будто сам собой, без всякого заметного логического процесса и был вне всякого сомнения. Но я не мог ограничиться тем, чтобы просто осуществить его поскорее. Я хотел достаточно и отчетливо мотивировать его для себя и для других. Особенно не мог я примириться с тем, что меня не поняла бы и Нэтти и приняла бы за простой порыв чувства то, что было логической необходимостью, что неизбежно вытекало из всей моей истории.

Поэтому я должен был прежде всего последовательно рассказать свою историю, рассказать для товарищей, для себя, для Нэтти... Таково происхождение этой моей рукописи. Вернер, который прочитает ее первым, – на другой день после того, как мы с Владимиром исчезнем, – позаботится о том, чтобы она была напечатана, – конечно, со всеми необходимыми ради конспирации изменениями. Это мое единственное завещание ему. Очень жалею, что мне не придется пожать ему руку на прощанье.

По мере того как я писал эти воспоминания, прошлое прояснилось передо мной, хаос уступал место определенности, моя роль и мое положение точно обрисовывались перед сознанием. В здравом уме и твердой памяти я могу теперь подвести все итоги...

Совершенно бесспорно, что задача, которая была на меня возложена, оказалась выше моих сил. В чем заключалась причина неуспеха? И как объяснить ошибку проницательного, глубокого психолога Мэнни, сделавшего такой неудачный выбор?

Я припоминаю свой разговор с Мэнни об этом выборе, разговор, происходивший в то счастливое для меня время, когда любовь Нэтти внушала мне беспредельную веру в свои силы.

– Каким образом, – спросил я, – вы, Мэнни, пришли к тому, что из массы разнообразных людей нашей страны, которых вы встречали в своих поисках, вы признали меня наиболее подходящим для миссии представителя Земли?

– Выбор был не так уж обширен, – отвечал он. – Его сфера должна была с самого начала ограничиваться представителями

научно-революционного социализма; все другие мировоззрения отстают гораздо дальше от нашего мира.

– Пусть так. Но среди пролетариев, образующих основу и главную силу нашего направления, разве не среди них могли вы всего легче найти то, что вам было надо?

– Да, искать там было бы всего вернее. Но... у них обыкновенно не хватает одного условия, которое я считал необходимым: широкого разностороннего образования, стоящего на всей высоте вашей культуры. Это отклонило линию моих поисков в другую сторону.

Так говорил Мэнни. Его расчеты не оправдались. Значило ли это, что ему вообще некого было взять, что различие обеих культур составляет необходимую пропасть для отдельной личности и преодолеть его может только общество? Думать так было бы, пожалуй, утешительно для меня лично, но у меня остается серьезное сомнение. Я полагаю, что Мэнни следовало бы еще проверить его последнее соображение – то, которое касалось товарищей-рабочих.

На чем именно я потерпел крушение?

В первый раз это произошло таким образом, что нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопило мое сознание и размыло линии его берегов. С помощью Нэтти я пережил кризис и справился с ним, но не был ли самый кризис усилен и преувеличен той повышенной чувствительностью, той утонченностью восприятия, которая свойственна людям социально-умственного труда? Быть может, для природы, несколько более примитивной, несколько менее сложной, но зато органически более стойкой и прочной, все обошлось бы легче, переход был бы менее болезненным? Быть может, для малообразованного пролетария войти в новое, высшее существование было бы не так трудно, потому что хотя ему пришлось бы больше учиться вновью, но зато гораздо меньше надо было бы переучиваться, а именно это тяжелее всего... Мне кажется, что да, и я думаю, что Мэнни тут впал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития.

Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый характер той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом: меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи, чистота и прозрачность ее отношений между людьми. Речь

Стэрни, грубо выразившая всю несоизмеримость двух типов жизни, была только поводом, только последним толчком, сбросившим меня в ту темную бездну, к которой тогда стихийно и неудержимо вело меня противоречие между моей внутренней жизнью и всей социальной средой, на фабрике, в семье, в общении с друзьями. И опять-таки не было ли это противоречие гораздо более сильным и острым именно для меня, революционера-интеллигента, всегда девять десятых своей работы выполнявшего либо просто в одиночку, либо в условиях одностороннего неравенства с товарищами-сотрудниками, в качестве их учителя и руководителя, – в обстановке обособления моей личности среди других? Не могло ли противоречие оказаться слабее и мягче для человека, девять десятых своей трудовой жизни переживающего хотя бы в примитивной и неразвитой, но все же в товарищеской среде, с ее, быть может, несколько грубым, но действительным равенством сотрудников? Мне кажется, что это так; и я полагаю, что Мэнни следовало бы возобновить его попытку, но уже в новом направлении...

А затем для меня остается то, что было между двумя крушениями, то, что дало мне энергию и мужество для долгой борьбы, то, что и теперь позволяет мне без чувства унижения подводить ее итоги. Это любовь Нэтти.

Бесспорно, любовь Нэтти была недоразумением, ошибкой ее благородного и пылкого воображения. Но такая ошибка оказалась возможной, этого никто не отнимет и ничто не изменит. В этом для меня ручательство за действительную близость двух миров, за их будущее слияние в один невиданно-прекрасный и стройный.

А сам я... но тут нет никакого итога. Новая жизнь мне недоступна, а старой я уже не хочу: я не принадлежу ей больше ни своей мыслью, ни своим чувством. Выход ясен.

Пора кончать. Мой сообщник дожидается меня в саду; вот его сигнал. Завтра мы оба будем далеко отсюда, на пути туда, где жизнь кипит и переливается через край, где так легко стереть ненавистную для меня границу между прошлым и будущим. Прощайте, Вернер, старый, хороший товарищ.

Да здравствует новая, лучшая жизнь, и привет тебе, ее светлый призрак, моя Нэтти!

Из письма доктора Вернера литератору Мирскому

(Письмо без всякой даты – очевидно, по рассеянности Вернера.)

.....

Канонада уже давно замолкла, а раненых все везли и везли. Громадное большинство их были не милиционеры и не солдаты, а мирные обыватели; было много женщин, даже детей: все граждане равны перед шрапнелью. В мой госпиталь, ближайший к театру битвы, везли главным образом милиционеров и солдат. Многие раны от шрапнели и гранатных осколков производили потрясающее впечатление даже на меня, старого врача, когда-то несколько лет работавшего по хирургии. Но над всем этим ужасом носилось и господствовало одно светлое чувство, одно радостное слово – «победа!».

Это наша первая победа в настоящем большом сражении. Но для всякого ясно, что она решает дело. Чашки весов наклонились в другую сторону. Переход к нам целых полков с артиллерией – ясное знамение. Страшный суд начался. Приговор будет немилостив, но справедлив. Давно пора кончать...

На улицах кровь и обломки. Солнце от дыма пожаров и канонады стало совсем красным. Но не зловещим кажется оно нашим глазам, а радостно-грозным. В душе звучит боевая песня, песня победы.

.....

Леонида привезли в мой госпиталь около полудня. У него одна опасная рана в грудь и несколько легких ран, почти царапин. Он еще среди ночи отправился с пятью «гренадерами» в те части города, которые находились во власти неприятеля: поручение заключалось в том, чтобы несколькими отчаянными нападениями вызвать там тревогу и деморализацию. Он сам предложил этот план и сам вызвался на его выполнение. Как человек, в прежние годы много работавший здесь и хорошо знакомый со всеми закоулками города, он мог выполнить отчаянное предприятие лучше других, и главный начальник милиции после некоторых колебаний согласился. Им удалось добраться со своими гранатами до одной из неприятельских

батарей и с крыши взорвать несколько ящиков со снарядами. Среди вызванной взрывами паники они спустились вниз, перепортили орудия и взорвали остальные снаряды. При этом Леонид получил несколько легких ран от осколков. Затем, во время поспешного отступления, они наткнулись на отряд неприятельских драгун. Леонид передал команду Владимиру, который был его адъютантом, а сам с последними двумя гранатами скользнул в ближайшие ворота и остался в засаде, пока остальные отступали, пользуясь всякими случайными прикрытиями и энергично отстреливаясь. Он пропустил мимо себя большую часть неприятельского отряда и бросил первую гранату в офицера, а вторую в ближайшую группу драгун. Весь отряд беспорядочно разбежался, а наши вернулись, подобрали Леонида, тяжело раненного осколком своей гранаты. Они благополучно доставили его к нашим линиям еще до рассвета и передали на мое попечение.

Осколок сразу удалось вынуть, но легкое задето, и положение серьезное. Я устроил больного как можно лучше и удобнее, но одного, конечно, я не мог ему дать – это полного покоя, который ему необходим. С рассветом общая битва возобновилась, ее шум был слишком хорошо слышен у нас, и беспокойный интерес к ее перипетиям усиливал лихорадочное состояние Леонида. Когда начали привозить других раненых, он стал волноваться еще более, и я был вынужден, насколько возможно, изолировать его, поместивши за ширмами, чтобы он, по крайней мере, не видел чужих ран.

.....

Около четырех часов дня сражение уже кончилось, и исход был ясен. Я был занят исследованием и распределением раненых. В это время мне передали карточку той особы, которая несколько недель тому назад письменно справлялась у меня о здоровье Леонида, а потом была у меня сама после бегства Леонида и должна была заехать к вам с моей рекомендацией, чтобы ознакомиться с его рукописью. Так как эта дама, несомненно, товарищ и, по-видимому, врач, то я пригласил ее прямо к себе в палату. Она, как и прошлый раз, когда я ее видел, была под темной вуалью, которая сильно маскировала черты ее лица.

– Леонид у вас? – спросила она, не здороваясь со мною.

– Да, – отвечал я, – но не следует особенно тревожиться: хотя его рана и серьезна, однако, я полагаю, его возможно вылечить.

Она быстро и умело задала мне ряд вопросов, чтобы выяснить положение больного. Затем она заявила, что желает его видеть.

– А не может ли это свидание взволновать его? – возразил я.

– Несомненно, да, – был ее ответ, – но это принесет ему меньше вреда, чем пользы. Я ручаюсь вам за это.

Ее тон был очень решительный и уверенный. Я чувствовал, что она знает, что говорит, и не мог отказать ей. Мы прошли в ту палату, где лежал Леонид, и я жестом показал ей, чтобы она прошла за ширмы, но сам остался по соседству, у постели другого тяжелораненого, которым мне все равно предстояло заняться. Я хотел слышать весь ее разговор с Леонидом, чтобы вмешаться, если это потребуется.

Уходя за ширмы, она несколько приподняла вуаль. Ее силуэт был виден для меня через малопрозрачную ткань ширм, и я мог различить, как она наклонилась над больным.

– Маска... – произнес слабый голос Леонида.

– Твоя Нэтти! – отвечала она, и столько нежности и ласки было вложено в эти два слова, сказанные тихим, мелодичным голосом, что мое старое сердце задрожало в груди, охваченное до боли радостным сочувствием.

Она сделала какое-то резкое движение рукой, точно расстегивала воротничок, и, как мне показалось, сняла с себя шляпу с вуалью, а затем еще ближе наклонилась к Леониду. Наступило минутное молчание.

– Значит, я умираю? – сказал он тихо тоном вопроса.

– Нет, Лэнни, жизнь перед нами. Твоя рана не смертельна и даже не опасна...

– А убийство? – возразил он болезненно-тревожно.

– Это была болезнь, мой Лэнни. Будь спокоен, этот порыв смертельной боли не станет никогда между нами, ни на пути к нашей великой общей цели. Мы достигнем ее, мой Лэнни...

Легкий стон вырвался из его груди, но это не был стон боли. Я ушел, потому что относительно моего больного уже выяснил то, что мне было надо, а подслушивать больше не следовало и было незачем.

Через несколько минут незнакомка, опять в шляпке и в вуали, вызвала меня снова.

– Я возьму Леонида к себе, – заявила она. – Леонид сам желает этого, и условия для лечения у меня лучше, чем здесь, так что вы можете быть спокойны. Два товарища дожидаются внизу; они перенесут его ко мне. Распорядитесь дать носилки.

Спорить не приходилось: в нашем госпитале все условия действительно не блестящие. Я спросил ее адрес – это очень близко отсюда – и решил завтра же зайти к ней навестить Леонида. Двое рабочих пришли и осторожно унесли его на носилках.

.....

.....

(Приписка, сделанная на следующий день.)

И Леонид и Нэтти бесследно исчезли. Сейчас я зашел на их квартиру: двери отперты, комнаты пусты. На столе в большой зале, в которой одно огромное окно отворено настежь, я нашел записку, адресованную мне. В ней дрожащим почерком было написано всего несколько слов.

«Привет товарищам. До свиданья.

Ваш Леонид».

Странное дело: у меня нет никакого беспокойства. Я смертельно устал за эти дни, видел много крови, много страданий, которым не мог помочь, насмотрелся картин гибели и разрушения, а на душе все так же радостно и светло.

Все худшее позади. Борьба была долгая и тяжелая, но победа перед нами... Новая борьба будет легче...

(1908)

| |
|-------|
| notes |
|-------|

Примечания

А. Богданов, Вопросы социализма. Изд. писателей в Москве.
1918 г., стр. 38.

Ленин. Собр. соч. т. XVIII, ч. 2-я, стр. 119, ГИЗ, 1923 г.

Ленинский сборник Ин-та Ленина при ЦК РКП (б). 1924 г. стр. 134.